

 Т. Е. Абрамзон «Письмо о пользе Стекла» М. В. Ломоносова

Т. Е. Абрамзон

«Письмо о пользе Стекла» М. В. Ломоносова

Опыт комментария просветительской энциклопедии

Репринтное воспроизведение издания

1752 [1753] года

Письмо о пользе Стекла



Т. Е. Абрамзон

«Письмо о пользе Стекла» М. В. Ломоносова

Опыт комментария
просветительской энциклопедии

Репринтное воспроизведение
издания 1752 [1753] года

К 300-летию М. В. Ломоносова

ОГИ
Москва
2010

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
А16

Книга написана при финансовой поддержке
Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ)
Проект № 10-04-93821к/К

Научные рецензенты:
доктор филологических наук, профессор РГГУ М. П. Одесский
доктор филологических наук, профессор МаГУ А. В. Петров

Макет Андрея Рыбакова

Абрамзон Т. Е.

А16 «Письмо о пользе Стекла» М. В. Ломоносова. Опыт комментария просветительской энциклопедии / Т. Е. Абрамзон. / Репринтное воспроизведение издания 1752 [1753] года. — М.: ОГИ, 2010. — 192 с., 16 с. ил.

ISBN 978-5-94282-625-3

Книга представляет собой репринтное воспроизведение первого издания «Письма о пользе Стекла» М. В. Ломоносова, снабженное комментариями, проясняющими историко-литературные, бытовые, культурологические, стилистические и иные особенности этого произведения.

Для литературоведов, культурологов, историков, студентов-гуманитариев и всех, кто интересуется русской культурой XVIII века.

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-94282-625-3

© Т. Е. Абрамзон, 2010
© ОГИ, 2010

О формате издания

Петербургская Академия Наук, первое российское научное заведение, в самом начале своей деятельности подготовила к изданию труды своих профессоров и адъюнктов на латинском языке под названием «*Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*». Одновременно был опубликован и их русский перевод «Краткое описание комментариев Академии наук на 1726 год», ставший первым научным периодическим изданием Академии на русском языке¹. Латынь из моды вышла давно, комментарии, наверно, тоже, но последним удалось доказать свою полезность и в научном, и в культурном обиходе.

Комментарий к тексту выполняет одновременно несколько функций, например, словарную, снабжая читателя фактами и сведениями, или толковательную, проясняя «темные» места в авторских словосплетениях. Причем нужда в комментарии прямо пропорциональна хронокультурной дистанции, отделяющей читателя от текста, ведь почти любое произведение XVIII века, будь то торжественная ода, героическая или ирои-комическая поэма, закрыто от нас даже в основных своих смыслах, не говоря уже о нюансах, без исторических, филологических, культурологических или лингвистических «подсказок» специалистов. Однако степень их востребованности возрастает в разы, если речь идет о *Михаиле Васильевиче Ломоносове (1711–1765)* и о таком непривычном для нашего понимания виде поэзии, как научная поэзия.

¹ Печатание академических «Комментариев» на латинском и русском языках затянлось, и тот и другой тома вышли в свет в 1728 году [Берков, 72].

Научные и литературные труды Ломоносова по сей день привлекают внимание ученых, работающих в разных областях знания. Он является единственным автором XVIII века, чье наследие вышло полным собранием сочинений во второй половине XX века в издательстве Академии Наук СССР с самым полным — академическим — комментарием: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. В 10 т. М.–Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1950–1959; Т. 11. М.–Л., 1983. Этот комментарий можно считать образцовым, до настоящего времени сохраняющим свою ценность в качестве хотя и дополнительной, но необходимой части текста и, безусловно, остающимся базовым для исследователей творчества Ломоносова.

Из одиннадцати томов полного собрания сочинений Ломоносова лишь один том (восьмой) включает его литературные произведения. Интересно, что эта десятая доля написанного Ломоносовым настолько богата и содержательна, что рассматривается то как значимый период в истории литературы, откуда берет свое начало русская поэзия Нового времени, то как фрагмент мифологии власти XVIII века, то как воплощение научных открытий, причем совершенных самим Ломоносовым, то как талантливо зарифмованные философские и теологические размышления о Боге, Природе и Человеке. Ломоносовское творчество может изучаться и традиционными, и новаторскими методами исследования, раскрываясь все новыми сторонами как уникальный культурный феномен.

В попытках разгадать, как мыслил и как писал Ломоносов, нам, кажется, удалось найти сочинение, которое является одновременно и квинтэссенцией его творчества, и знаковым произведением русской культуры XVIII века, — «Письмо о пользе Стекла» (1752). Именно послание к И. И. Шувалову, российскому государственному деятелю, в большей степени, нежели другие произведения, отражает не только глубину и масштаб Ломоносова, этой личности *grandiosa*, но и приоритеты его деятельности, главным из которых была Наука, а затем уже Слово, помогающее ее популяризации. Уникальность «Письма» заключается в информативном богатстве этого текста. В нем отражены ключевые идеи и концепты — политические, философские, научные, религиозные — века Просвещения, реалии быта и культуры того времени, что позволяет считать это сочинение *просветительской энциклопедией*.

Определить жанр этого ломоносовского произведения проблематично. Заглавие отсылает к эпистолярной форме (послание), по содержанию — это изложение научных и философско-религиозных идей в стихотворной форме (дидактическая поэма), а также перечень способов использования стекла в быту и в научной деятельности (научно-практическое руководство), по пафосу — апология просветительских идей, по топам — высокая поэзия, перемежающаяся ироническими пассажами, со-

единение личных авторских эмоций и широкого историко-культурного контекста.

Наше определение «Письма» как просветительской энциклопедии, разумеется, тоже не универсально и не вмещает всех особенностей ломоносовского сочинения, однако добавляет к вышеназванным чертам еще две: во-первых, принадлежность «Письма» к специфическому культурному процессу XVIII века, участники которого верили в научный прогресс и в возможность переустройства мира на основе Разума; и, во-вторых, его уникальную информативность, заключающуюся в отражении многих (если не всех) основных просветительских идей и научных концепций².

Кроме того, ломоносовское послание, ориентированное на западноевропейские образцы жанра научно-философской поэмы, породило целый ряд литературных подражаний, по-разному наследующих ломоносовскому «Письму», ставшему прототекстом научно-поэтического модуса в русской литературе.

Во имя признания уникальности ломоносовского послания наша работа открывается своеобразным культурным артефактом — репринтом первого издания ломоносовского письма, датированного 1752 годом (в действительности же оно увидело свет в марте 1753 года [*Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова*, 211]).

Предполагалось, что далее последует построчный комментарий к четырём сорока ямбическим стихам ломоносовского послания. Такого рода проект был бы, говоря словами Ломоносова, очень полезен. На память приходит любопытная мысль *Никиты Михайловича Муравьева (1795–1843)*, вы-

² «Письмо о пользе стекла» Ломоносова написано в русле традиций западноевропейской дидактической (научной) поэзии, отражавшей технические, естествоведческие и философские проблемы. Свидетельством значимости данного рода поэзии в западной литературе может служить издание в Париже в 1749 году трехтомного сборника ученого-литератора Ф. Удена (*Poëmata didascalica, nunc edita, vel collecta*, t. I–III [Поучительные поэмы, ныне впервые либо изданные, либо собранные]), содержащего поэмы о барометре, о порохе, о часовом механизме, об огне, о золоте, о кометах, о землетрясениях, о радугах, о северных сияниях и т.п. Исследователи не отрицают возможного влияния опубликованных Уденом поэм на замысел «Письма о пользе Стекла». Тенденция к сближению задач поэзии и науки сохранялась в русской литературе на протяжении всего XVIII века, неожиданно проявляясь в самых разных по стилю поэтических текстах (М. М. Херасков «Плоды наук» (1761), Н. Н. Поповский «Письмо о пользе наук» (1772), С. С. Бобров «Таврида» (1798), «Обузданный Юпитер, или Громовый отвод» (1804), А. Н. Радищев «Вольность», «Бова», И. П. Пнин «Время», «Солнце неподвижно между планетами», Ф. И. Ленкевич «Стихи на разрыв эолипылы — физического инструмента, которым доказывается упругость паров», Н. М. Карамзин «Анакреонтические стихи» (1789) и др.). Подробнее см.: [*Алексеев; Орлов*, 431–438].

сказанная им в отзыве на «Историю Государства Российского» Карамзина. Муравьевская концепция исторического труда заключается в том, что историю должны совместно писать несколько ученых: один — философ, другой — «законоискусник», третий — пастырь церкви, четвертый — знаток торговли, пятый — специалист по военному делу. Так дело обстоит и с «Письмом» Ломоносова. Неплохо было бы, конечно, если бы коллектив его комментаторов включал в себя астронома, физика, химика, теолога и филолога. Объем такого издания, осуществленного представителями разных наук, был бы по-хорошему огромен. Но это в идеале, на практике же комментарием занялся только филолог.

Данный труд назван нами «опытом комментария» не из желания признать или защитить свой труд. Мол, всего лишь попытка... Слово «опыт» использовано в заглавии, чтобы обозначить книгу одним из возможных вариантов комментария как жанровой модели.

Строго говоря, у «быстрого» читателя потребность в каких бы то ни было пояснениях «Письма о пользе Стекла» минимальна, потому что по-настоящему «темных» мест в ломоносовском тексте мало. Смысл послания вполне прозрачен: науки служат на пользу общества и государства; стекло несет добро людям; Шувалов — меценат, ходатайствующий перед императрицей о продвижении научных идей Ломоносова, за что последний ему благодарен.

Настоящее издание адресовано читателю «медленному», задающемуся вопросами после каждой прочитанной строки: «Почему Стекло, а не минералы? Почему счастье «лживое», а не слепое? При чем тут Блаженный Августин (да еще и Вечерний), Клеанты и Коперники?..» Поэтому цель нашего комментария — воссоздать жизнь ломоносовского «Письма» в контексте культуры XVIII века; объяснить, чем или кем инициировано его создание, какие идеи, каким образом и почему озвучены в нем; увидеть, как далее сложилась судьба жанровой парадигмы, заданной Ломоносовым, а также отдельных пассажей и поэтических формул из «Письма». Что же касается исторических лиц, то наша задача состояла не в том только, чтобы указать профессиональный или социальный статус персоны, упомянутой в поэме, и привести две даты, заключающие весь пройденный жизненный путь в тире между ними. Хотелось бы представить этих персон живыми людьми, которые говорили, двигались, думали, писали, интриговали, ссорились и т. п. Предполагается представить также и научные идеи как историю их жизни в культуре XVIII века и других веков.

Нами прокомментированы строки, нуждающиеся в исторических пояснениях, указаны любопытные с точки зрения поэтики стихи, выявлены реминисценции «Письма» у других поэтов. Иногда комментируются несколько строк, образующих законченный эпизод в сюжете ломоносовского по-

слания. В соответствии с этой задачей мы предоставляем право звучать слову XVIII века в нашем комментарии в виде писем, стихотворений, трактатов.

Безусловно, сложно, а порой и невозможно соответствовать универсальности ломоносовского знания, запечатленной в «Письме». Где-то мы комментируем одно слово, где-то — одну формулу из нескольких слов, где-то — строчку, где-то — одну идею, развернутую в нескольких строках. Выбор этот отчасти обусловлен заявленным определением ломоносовского послания как просветительской энциклопедии, отчасти мотивирован личным интересом автора комментария к тому или иному пассажиру или детали.

«Опыт комментария» — в этом подзаголовке есть и понимание относительности научного знания, и видение автором других возможных вариантов комментария, и осознание того, что комментарий этот отчасти «неправильный», ведь он содержит не только сведения, поясняющие некоторые слова, фамилии и факты, но и интерпретации, толкующие это ломоносовское сочинение и вписывающие его в историко-культурный контекст эпохи. К сожалению, не удалось избежать диспропорциональности комментариев: некоторые из них представляют собой развернутые экскурсии в историю культуры, другие имеют более скромную задачу простого пояснения.

Кроме того, комментарий содержит факультативный материал, не имеющий прямого отношения к ломоносовскому «Письму», но представляющий интерес с точки зрения жизни этого текста в культуре России. Такого рода материал помещен под рубрикой «*Не могу преминуть, чтобы не...*». Эта формула заимствована нами из писем Ломоносова к Шувалову того периода, когда их дружеские и патронно-клиентские отношения находились в стадии становления, а сами письма имели характер литературной игры ученого-поэта с любителем искусств, да еще и приближенным к монархии. Вот три наудачу выбранных примера:

«Милостивый государь Иван Иванович!

Не могу преминуть, чтобы вашему превосходительству *не* сообщить сочиненных мною после спуска корабля за обедом кратких стихов, ведая вашу к наукам, а особливо к словесным, охоту. <...>³ (1751) [Ломоносов, X, 471];

«Милостивый государь Иван Иванович!

³ Здесь и далее курсив мой за исключением особо оговариваемых случаев. — Т. А.

Не могу преминуть, чтобы вашему превосходительству не прислать Волтеровой музы нового исчадия <...>» (1752) [*Ломоносов*, X, 473].

«Милостивый государь Иван Иванович!

Получив от студента Поповского перевод первого письма Попиева „Опыта о человеке“, *не могу преминуть, чтобы не* сообщить вашему превосходительству. В нем нет ни единого стиха, который бы мною был правлен» (1753) [*Ломоносов*, X, 487].

Найденная Ломоносовым формула не должного, но любопытного литературного подношения используется и нами в том же смысле — в качестве «подношения» читателю, обладающему «охотой к наукам». Более того, как писал Ломоносов-ритор, «<...> не надлежит всегда тех [идей. — Т. А.] отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты, ибо оне иногда, будучи сопряжены <...>, могут составить изрядные и к теме приличные сложенные идеи» [*Ломоносов*, VII, 111]. «Сопряжение далековатых идей»⁴ позволяет представить жизнь культуры, помимо прочего, в ее мелочах, анекдотах и случайностях, которые затем складываются в закономерности культурного развития.

⁴ Формулировка «сопряжение далековатых идей» принадлежит Ю. Тынянову [*Тынянов*, 236].

**Репринтное воспроизведение
издания 1752 [1753] года**

ПИСЬМО
О ПОЛЬЗѢ СТЕКЛА
къ дѣйствительному
Е Я
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
КАММЕРГЕРУ
и орденовѣ свящаго Александра
и свящья Анны Кавалеру
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Ивану Ивановичу Шувалову
отъ
Коллежскаго Совѣтника и Профессора
МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА.

Печатано въ Санктпетербургѣ при
Императорской Академіи Наукѣ
1752 года.



Неправо о вещахъ тѣ думаютъ , Шуваловъ ,
Которые Стекло чтупѣ ниже Минераловъ
Приманчивымъ лучемъ блистающихъ въ глаза :
Не меньше польза въ немъ , не меньше въ немъ краса .
Не рѣдко я для той съ Парнаскихъ горъ спускаюсь ;
И нынѣ отъ нея на верхъ ихъ возвращаюсь ,
Пою передъ Тобой въ воспоргѣ похвалу ,
Не камнямъ дорогимъ , ни злату , но Стеклу .
И какъ я оное хвала воспоминаю ,
Не ломкость дживаго я щастья представляю .
Не должно шлѣнности примѣромъ тое бытъ ,
Чего и сильный огонь не можетъ разрушить ,
Другихъ вещей земныхъ конечный раздѣлитель :
Стекло имъ рождено ; огонь его родитель .

Съ напурой нѣкогда онъ произвестъ хопя
Доспойное себя и оныя дия ,
Во мрачной глубинѣ , подъ пягоспью земною ,
Гдѣ вѣчно онъ живепѣ и борется съ водою ,
Всѣ силы собралъ вдругъ , и хляби затворилъ ,
Въ которы Океанъ на брань къ нему входилъ .
Напрягся мышцами и рамена подвинулъ ,
И пятошу земли превыше облакъ вскинулъ .
Внезапно черный дымъ навелъ густую тѣнь ,
И въ ночь ужасную перемѣнился день .
Не баснопворнаго здѣсь ради Геркулеса
Двѣ noci сложены въ едину отъ Зевеса ;
Но Ешна правдѣ сей свидѣтель вѣчный намъ ,
Которая дала пущь чуднымъ симъ родамъ .

Изъ ней разжженная рѣка стекла въ пучину ,
 И свѣтъ опчаясь , мнидѣ , что зрѣтъ свою судьбину !
 Но ужасу тому послѣдовалъ конецъ :
 Довольна чадомъ мать , доволенъ имъ отецъ .
 Прогнали долгу ночь и жаръ свой погасили ,
 И солнцу ясному рожденіе открыли .
 Но чтожъ отъ нѣдръ земныхъ родясь произошло ?
 Любезное дитя , прекрасное Стекло .
 Увидѣвъ смершныя , о какъ ему дивились !
 Подобное тому сыскать искусствомъ щуились .
 И было въ дѣлѣ семъ удачно мастерство :
 Превысило своимъ раченьемъ естество .
 Тѣмъ спало житіе на свѣтѣ намъ щасливо :
 Изъ чистаго Стекля мы пьемъ вино и пиво ,
 И видимъ въ немъ примѣръ бескипросныхъ сердецъ :
 Кого лъзя видѣтъ сквозь , поитъ подлинно не льщецъ .
 Стекло въ напитокѣхъ намъ не можетъ скрыть примѣсу ;
 И чиста совѣсть рветъ припворствѣхъ гнилу завѣсу .
 Но столько ли ужѣ , Стекло , пвоихъ похвалъ ,
 Что намъ въ тебѣ вино и медъ самъ слаще сталъ ?
 Никакъ ! сіе пвоихъ достоинствъ лишь началъ ,
 Которы мастерство тебѣ съ природой дало .
 Исполненъ слабостями нашъ крапкѣй въ мирѣ вѣкъ :
 Нерѣдко впадаетъ въ болѣзни чловѣкъ !
 Онъ ищетъ помощи , хопя спасись отъ муки ,
 И жизнь свою продлишь , врачамъ дается въ рѣки .
 Нерѣдко намъ они опраду могутъ дать ,
 Умѣвъ приличныя лѣкарства предписать ;
 Лѣкарства , что въ Стеклѣ хранятъ и составляютъ ;
 Въ Стеклѣ одномъ онѣ безвредны пребывають .
 Мы должны здравія и жизни часть Стеклу :
 Какую надлежитъ ему принесть хвалу !

Хопь

Хоть вмѣсто онаго замысловаты Хины
 Сосуды составляють нашли изъ чистой глины ;
 Огромность тяжкую плода лишенныхъ горъ
 Художествомъ своимъ преобразовавъ въ Фарфоръ ,
 Красой его къ себѣ народы привлекаютъ ,
 Что плавая , морей свирѣпость презираютъ .
 Однако былъ бы онъ почти проспой горшокъ ,
 Когда бы блескъ Стекла дасть помощи не могъ .
 Оно входъ жидкихъ тѣлъ опъ скважинъ отвращаетъ ,
 Вещей прекрасныхъ видъ на немъ изображаетъ ,
 Имѣетъ опъ Стекла часть крѣпости Фарфоръ ;
 Но тое , что на немъ увеселяетъ взоръ ,
 Сады , гульбы , пиры , и все что есть прекрасно ,
 Стекло являетъ намъ пріятно , чисто , ясно .

Искусство , коимъ былъ прославленъ Апеллесъ ,
 И коимъ нынѣ Римъ главу свою вознесъ ,
 Коль пользы опъ Стекла пріобрѣло велики ,
 Доказываютъ то Финифши , Мозаики ,
 Которы въ вѣкъ хранятъ Геройскихъ бодрость лицъ ,
 Пріятность нѣжную и красшу дѣвицъ ;
 Чрезъ множество вѣковъ себѣ подобны зрятся ,
 И вѣпхой древности грызенья не бояся .

Когда неистовой свирѣпствуя Борей ,
 Списняетъ мразомъ насъ въ упругости своей ;
 Великой не шерпя и строгой перемѣны ,
 Скрываетъ человекъ себя въ толстыя стѣны .
 Онъ былъ бы принужденъ безъ свѣту въ нихъ сидѣть ;
 Или съ дрожаніемъ несносной хладъ шерпѣть .
 Но солнечны лучи онъ сквозь Стекло впускаетъ ,
 И люпость холода чрезъ поже отвращаетъ .
 Отворенному вдругъ и запертому быть ,
 Не то ли мы зовемъ , что чудеса шворипъ ?

Потомъ какъ человекъ зимой спалъ безопасенъ ;
 Еще припомъ желалъ , чтобъ цвѣлъ всегда прекрасенъ
 И въ сѣверныхъ странахъ въ снѣгу зеленой садъ ;
 Цейлонъ бы посрамилъ , пренебрегая хладъ .
 И удовольствовалъ онъ мысли прихотливы :
 Зимой за Спекломъ цвѣты хранятся живы ;
 Даютъ пріятной духъ , увеселяютъ взоръ ,
 И вамъ , Красавицы , хранятъ себя въ уборъ .
 Позволь , Любитель Музъ , я рѣчь свою склоняю ,
 И къ нѣжнымъ симъ сердцамъ на время обращаю .
 И Музы съ оными единого сродства ;
 Подобна въ нихъ краса и нѣжныя слова .
 Щасливой младостью Твои цвѣтущи годы
 И склонной похвала и ласковой природы
 Мой стихъ отъ оныхъ къ симъ пренестъ не возбранятъ .
 Прекрасной полъ , о коль любезенъ вамъ нарядъ !
 Дабы прельстивъ лицомъ любовныхъ суевѣровъ ,
 Какое множество вы знаете манѣровъ ;
 И коль искусны вы уборъ перемѣнять ,
 Чтобъ въ каждой день себѣ пріятность нову дать .
 Но былобъ ваше все старанье безъ успѣху ,
 Наряды ваши бы достойны были смѣху ;
 Когдабъ вы въ зеркалъ не видѣли себя .
 Вы вдвое пригожи , Стекло употреба .
 Когда блестятъ на васъ горящіе алмазы ,
 Двойной кипитъ въ насъ жаръ сугубыя заразы !
 Но больше красоты и больше въ нихъ цѣны ,
 Когда кругъ ихъ Спекломъ цвѣтки наведены .
 Вы кажесь намъ въ нихъ , пріятною весною ,
 Въ цвѣтахъ наряженной усыпанныхъ росю .
 Во свѣтлыхъ зданіяхъ убранства таковы .
 Но въ чемъ красуетесь , о сельски Нимфы , вы ?

Природа

Природа въ васъ любовь подобную вложила ,
 Желанья ижны въ васъ подобна движетъ сила ;
 Вы также украшать желаете себя .
 За тѣмъ прохладные поля свой любя ,
 Вы рвете розы въ нихъ , вы рвете въ нихъ лилеи ,
 Кладете ихъ на грудь , и вяжете кругъ шеи .
 Таковъ уборъ даетъ вамъ ижная весна !
 Но чѣмъ вы краситесь въ другія времена ,
 Когда лишась цвѣтовъ , поля у васъ блѣднѣютъ ,
 Или снѣгами вокругъ глубокими бѣлѣютъ ,
 Безъ оныхъ что бы вамъ въ нарядахъ помогло ,
 Когда бы бисеру вамъ не дало Стекло ?
 Любовниковъ онъ къ вамъ не меньше привлекаетъ ,
 Какъ блестящій алмазъ богатыхъ уязвляетъ .
 Или еще на васъ въ немъ больше красота ,
 Когда любезная въ васъ свѣпиль простота !

Такъ въ бисеръ Стекло подобая жемчугу ,
 Любимо по всему земному ходитъ кругу .
 Имъ красится народъ въ полунощныхъ степяхъ ,
 Имъ красится Арабъ на южныхъ берегахъ .
 Въ Америкѣ живутъ , мы чаемъ , проспаки ,
 Что тамъ драгой мешалъ изъ сребреной рѣки
 Даютъ Европскому купечеству охотно ,
 И бисеру берутъ количество несочно ,
 Но тѣмъ я думаю они разумѣ насъ ,
 Что гонятъ опъ своихъ бѣдамъ причину глазъ .
 Имъ оны времена не будутъ въ вѣкъ забвенны ,
 Какъ пали ихъ опцы для злапа побѣнны .
 О коль ужасно зло ! на то ли человекъ
 Въ незнаемыхъ моряхъ имѣлъ опасный бѣгъ ,
 На толи разрушивъ естествоны предѣлы ,
 На упломъ деревъ обшолъ кругомъ свѣтъ дѣлй ,

За шѣмъ ли онѣ сошелъ на красны берега ,
 Чшобъ шамъ себя явишь свирѣлаго врага ?
 По пятгоспномѣ прудѣ снесенномѣ на пучинѣ ,
 Гдѣ предалъ онѣ себя на произволъ судьбинѣ ,
 Едва на твердый путь отъ бурь избышь успѣлъ ,
 Военной бурей онѣ внезапно зашумѣлъ .
 Уже горящѣ Царей шамъ древнѣя жилища ;
 Вѣнды врагамъ корысть , и плошь ихъ вранамъ пища !
 И кости предковъ ихъ изъ золошыхъ гробовъ
 Черезъ спѣны подаюшѣ къ смердящимъ шрунамъ въ ровъ !
 Сѣ перстнями рѣки прочъ и головы сѣ убранствомъ
 Сѣкушѣ несытые и златомъ и пиранствомъ .
 Иныхъ свирѣпствуя въ средину гоняшѣ горъ ,
 Драгой металлъ изрышѣ изъ преглубокихъ норъ .
 Смяпеніе и спрахъ , оковы , гладъ и раны ,
 Чшо наложили имъ въ работѣ ихъ тиранны ,
 Препяшпвовали имъ подземну хлябъ крѣпишь ,
 Чшобъ пягопа надъ ней могла недвижна бышь .
 Обрушилась гора : лежатъ въ ней погребенны
 Бесчашные ! или по истиннѣ блаженны ,
 Чшо вдругъ избѣгли всѣ бесчеловѣчныхъ рукъ ,
 Работы шяжкія , ругашельства и мукъ !
 Ошавивъ Каспилланъ невинность такъ пошранну
 Сѣ богашствомъ въ опчешство спѣшишѣ по Океану ,
 Надѣясь онымъ всю Европу вдругъ купишь .
 Но златомъ волнъ морскихъ не можно уполишь .
 Подобный ихъ сердцамъ Борей поднявъ пучину ,
 Навелъ ихъ живошу и варварству кончину ,
 Погрязли въ глубинѣ , сѣ сокровищемъ своимъ ,
 На пищу преданы чудовищамъ морскимъ .
 То бури , то враги шоль часто ихъ шерзали ,
 Чшо рѣдко до береговъ желанныхъ доспигали .

О коль великой вредѣ ! отъ зла раждалось зло !

Виною поликихъ бѣдъ бывало ли Стекло ?

Никакъ ! оно вездѣ нашъ духъ увеселяетъ :

Полезно молодымъ и старымъ помогаетъ.

По долговременномъ печенъи нашихъ дней ,
Тупѣтѣ зрѣніе ослабленныхъ очей.

Померкшее того не представляетъ чувство ,
Что кажется въ спонкосняхъ напура и искусство.

Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книгъ ;

Скучнѣе вѣчной шьмы , тяжелѣе веригъ !

Тогда противенъ день , веселіе досада !

Одно лишъ намъ Стекло въ сей бѣдности опрада.

Оно способствіемъ искусныя руки

Подаетъ намъ зрѣніе умѣетъ чрезъ очки !

Не дарѣ ли мы въ Стеклѣ божественный имѣемъ ?

Что честь достойную воздать ему коснемъ ?

Взирая въ древности народы изумленны ,

Что грѣетъ , попитъ , льетъ и свѣтитъ огонь возжженный ,

Иные Божеску ему давали честь ;

Иные зная хопя , кто съ неба могъ принести ,

Предспавили въ своемъ мечпаньѣ Промешя.

Что многи на землѣ художества умѣя ,

Различныя казалъ искусствомъ чудеса :

За то Минервою былъ взятъ на небеса ;

Похитилъ съ солнца огонь и смершнымъ опдалъ въ руки.

Зевесъ воздвигъ свой гнѣвъ , воздвигъ ужасны звуки.

Продерскаго къ горѣ великой приковавъ ,

И сильному орлу на расперзанье далъ.

Онъ сердце всегда коварное терзаетъ ,

На коемъ снова плошь на мѹку вырастаетъ.

Тамъ слышенъ спрашный стонъ , тамъ тяжка цѣпь звучитъ ;

И кровь чрезъ камни въ низъ текущая шумитъ.

О коль несносна жизнь ! позорище ужасно !
 Но въ просвѣщенны дни сей вымыслъ видимъ ясно.
 Пѣицы украшашъ хопя свои стихи ,
 Описывали казнь за мнимые грѣхи.
 Мы пламень солнечный Спекломъ здѣсь получаемъ ,
 И Прометей тѣмъ безбѣдно подражаемъ.
 Ругаясь подлоспи нескладныхъ оныхъ вракъ ,
 Небеснымъ безъ грѣха огнемъ курымъ табакъ ;
 И полько лишь о томъ мы думаемъ , жалѣя ,
 Не сверглась въ пагубу наука Прометей ?
 Не злѣсь ли на него невѣждѣ свирѣпыхъ полкъ ,
 На знапны вымыслы сложилъ неправой полкъ ?
 Не наблюдалъ ли звѣздѣ тогда сквозь Телескопы ,
 Что нынѣ воскресилъ трудъ щастливой Европы ?
 Не огонь ли онъ Спекломъ умѣлъ сводить съ небесъ ,
 И пагубу себѣ отъ Варваровъ нанесъ ,
 Что предали на казнь , обнеси чародѣемъ ?
 Коль много шаковыхъ примѣровъ мы имѣемъ ,
 Что зависть скрывъ себя подъ святоши покровъ ,
 И груба ревность съ ней на правду строя кобъ ,
 Отъ самой древности воюящъ многократно ,
 Чѣмъ много знанія погибло невозвратно !
 Коль почно зналибъ мы небесныя страны ,
 Движеніе планетъ , теченіе луны ,
 Когдабы Аристархъ завистливымъ Клеантомъ ,
 Не названъ былъ въ судѣ неистовымъ Гигантомъ
 Дерзнувшимъ землю всю опѣ шверди попрысши ,
 Кругъ центра своего , кругъ солнца обнести ;
 Дерзнувшимъ научать , что все домашни Боги
 Терпятъ великой трудъ всегдашнѣя дорѣги ;
 Вертитъ въ кругъ Непшунъ , Діана и Плутонъ :
 И спраждутъ шуже казнь какъ дерской Иксѣонъ ;

И неподвиж-

И неподвижная землѣ Богиня Веста
Къ упокоенію сыскашь не можешь мѣста.
Подъ видомъ ложнымъ сихъ почтенія Боговъ
Закрывъ былъ звѣздный миръ чрезъ множество вѣковъ.
Боясь паденія неправой оной вѣры ,
Вели всегдашню брань съ наукой лицемѣры :
Дабы она , открывъ величество небесъ ,
И разность дивную невѣдомыхъ чудесъ ,
Не показала всѣмъ , что непостижна сила
Единого Творца весь миръ сей сошорила.
Что Марсъ , Нептунъ , Зевесъ , все сонмище Боговъ
Не стобящъ пучныхъ жершавъ , ниже подъ жертву дровъ ;
Что агньцовъ и воловъ жрецы бдящъ напрасно ;
Сѣ одно , сѣ казалось бышь опасно.
Ошполъ землю всѣ считали посредѣ.
Астрономъ весь свой вѣкъ въ бесплодномъ былъ трудѣ ,
Запушавъ циклами ; пока воссталъ Коперникъ ,
Презришель зависти , и варварству соперникъ.
Въ срединѣ всѣхъ Планетъ онъ солнце положилъ ,
Сугубое землѣ движеніе открылъ.
Однѣмъ кругъ ценпра путь вседневный совершаетъ ,
Другимъ кругъ солнца годъ печеньемъ соспавляетъ ,
Онъ циклы истинной Сиспемой разперзалъ ,
И правду почностью явленій доказалъ.
Пошомъ Гугеніи , Кеплеры и Невтоны
Преломленныхъ лучей въ Стеклѣ познавъ законы ,
Разумной подлинно увѣрили весь свѣтъ ,
Коперникъ что училъ , сомнѣнія въ помѣ нѣтъ.
Клеантовъ не боясь мы пишемъ всѣ согласно ,
Что истиннѣ они пропиваясь напрасно.
Въ безмѣрномъ углубя пространствѣ разумъ свой ,
Изъ мысли ходимъ въ мысль изъ свѣта въ свѣтъ иной,
Вездѣ

Вездѣ Божественну премудрость почитаемъ ,
 Въ благоговѣнїи весь духъ свой погружаемъ .
 Чудимся быспринѣ , чудимся шишинѣ ,
 Чшо Богѣ успроилѣ намѣ въ безмѣрной глубинѣ .
 Въ ужасной скорости и купно бышь въ покоѣ ,
 Кто чудо сотворилѣ кромѣ Его такое ?
 Насѣ бѣльше шаковы идеи веселяшѣ ;
 Какѣ Божїи нѣкогда описывая градѣ
 Вечернїи Августинѣ (*) душею веселился .
 О коль великимѣ онѣ восторгомѣ бы плѣнился ,
 Когдабѣ разумну шварь поль тѣсно не включалѣ ,
 Подѣ намибѣ жиселей какѣ здѣсь не отрицалѣ ,
 Безѣ Математики вселенной бы не мѣрилѣ !
 Чшо есть Америка , напрасно онѣ не вѣрилѣ :
 Доказываепѣ шо подзѣмной Каполикѣ ,
 Кадя злапой его въ костелахѣ новыхѣ ликѣ .
 Уже Колумбу въ слѣдѣ , уже за Магелланомѣ
 Кругѣ свѣта ходимѣ мы великимѣ Океаномѣ ;
 И видимѣ множество Божественныхѣ шамѣ дѣлѣ ,
 Земель и оспрововѣ , людей , градовѣ и селѣ ,
 Незнаемыхѣ предѣ тѣмѣ и спранныхѣ намѣ живопныхѣ ,
 Звѣрей и пшицѣ и рыбѣ , плодовѣ и прабѣ несчопныхѣ .
 Возмите сей примѣрѣ , Клеаншы , ясно виявѣ ,
 Коль много Августинѣ въ семѣ мнѣнїи неправѣ ;
 Онѣ слово Божїе употреблялѣ (*) напрасно .
 Въ Системѣ свѣта вы пожѣ дѣлаепе власно .
 Во зрительныхѣ трубахѣ Спекло являепѣ намѣ ,
 Колико далѣ Творецѣ пространшво небесамѣ .
 Толь много солнцевѣ въ нихѣ пылающихѣ сїяепѣ ,
 Недвижныхѣ сколько звѣздѣ намѣ ясна ночь являепѣ .

Кругѣ

(*) О градѣ Божїи кн. 16, гл. 9.

(**) Тамже.

Кругъ солнца нашего , среди другихъ планетъ ,
Земля съ ходящею кругъ ней луной печетъ .
Которую хотя весьма пространну знаемъ ,
Но къ свѣту примѣнивъ какъ почку представляемъ .
Коль созданныхъ вещей пространно естество !
О коль велико ихъ создаше Божество !
О коль велика къ намъ щедротъ его пучина ,
Что на землю посладъ возлюбленного Сына !
Не погнушался Онъ на малой шаръ сошпи ,
Чтобы погибшаго спраданіемъ спасни .
Чѣмъ меньше мы Его щедротъ достойны зримся :
Тѣмъ больше благости и милости чудимся ?
Стекло приводитъ насъ чрезъ Оптику къ сему ,
Прогнавъ глубокую невѣденія тму !
Преломленныхъ лучей предѣлы въ немъ неложны ,
Поставлены Творцемъ ; другіе невозможны .
Въ благословенной нашъ и просвѣщенной вѣкъ
Чего не могъ дошпи по онымъ чловѣкъ ?

Хоть оспримъ взоромъ насъ природа одарила ;
Но близокъ онаго конецъ имѣетъ сила .
Кромъ , что въ далекъ не кажетъ намъ вещей ,
И собранныхъ трубой онъ пребуетъ лучей ,
Коль многихъ тварей онъ еще не досягаетъ ,
Которыхъ малой ростъ предъ нами сокрываетъ !
Но въ нынѣшнихъ вѣкахъ намъ Микроскопъ открылъ ,
Что Богъ въ невидимыхъ живопныхъ сотворилъ !
Коль тонки члены ихъ , составы , сердце , жилы ,
И нервы , что хранятъ въ себѣ живопны силы !
Не меньше нежели въ пучинѣ тяжкѣй Кишъ
Насъ малый червь частей сложеніемъ дивитъ .
Великъ Создатель нашъ въ огромности небесной !
Великъ въ спроенїи червей , скудели тѣсной !

Стекломъ

Стекломъ познали мы толики чудеса ,
 Чѣмъ Онъ наполнилъ понтиъ , и воздухъ и лѣса .
 Прибавивъ ростъ вещей оно коль намъ поребно ,
 Являетъ правъ разборъ , и знаніе врачебно .
 Коль много Микроскопъ намъ тайностей открылъ
 Невидимыхъ частицъ и тонкихъ въ шёлъ жилъ !

Но что еще ? ужè въ Стеклѣ намъ Барометры
 Хопяпъ предвозвѣщать , коль скоро будутъ вѣтры ,
 Коль скоро дождь густой на нивахъ зашумитъ ,
 Иль облаки прогнавъ ихъ солнце осушитъ .

Надежда наша въ томъ обманами не льститъся :
 Стекло поможетъ намъ , и дѣло совершится .
 Открылись почто имъ движенія свѣпилъ :
 Чрезъ пожъ откроешя въ погодахъ разность силъ .
 Коль могутъ щастливы селяне быть опшолъ ,
 Когда не будетъ зной ни дождь опасенъ въ полъ ?
 Какой способности ждашь должно кораблямъ
 Узнавъ когда шумѣть или молчать волнамъ ,
 И плавать по морю безбѣдно и спокойно !
 Велико дѣло въ семъ и горъ злпныхъ достойно !

Далече до конца Стеклу достойныхъ хвалъ .
 На кои цѣлой годъ едва бы мнѣ досталъ .
 За тѣмъ ужè слова похвалны оставляю ,
 И что объ немъ писалъ , по дѣломъ начинаю .
 Однако при концѣ не можно преминашь ,
 Чшобъ новыхъ мнѣ его чудесъ не помянушь .

Что можетъ смершнымъ быть ужасѣ удара ,
 Съ которымъ моднѣ изъ облакъ блестящѣ яра ?
 Услышавъ въ темнотѣ внезапной прескѣ и шумѣ ,
 И видя быспрый блескъ , мяшется слабый умъ ;
 Отъ гнѣвнаго часа желаетъ гдѣбъ укрышся ;
 Причины онаго исслѣдовать спрашитъся .

Дабы

Дабы истолковать что молнія и громъ ,
Такія мысли всѣ считаетъ онъ грѣхомъ.
На бичь , онъ говоритъ , я посмотрѣть не смѣю ,
Когда грозитъ Опеѣ намъ яростью своею.
Но какъ Онъ насъ казнитъ , поднявъ въ пучинѣ валъ ,
То грѣхъ ли то сказать , что въпрямъ Онъ нагналъ ?
Когда въ Египтѣ хлѣбъ довольный не родился ,
То грѣхъ ли то сказать , что Нилъ шамъ не разлился ?
Подобно надлежитъ о громѣ разсуждать.
Но блескъ и звукъ его не давъ главы поднять ,
Держалъ ученыхъ смыслъ въ смущеніи поличомъ ,
Что въ заблужденіи перяли путь великомъ ,
И истинныхъ причинъ достигнуть не могли ,
Покодъ дѣйствій въ Спеклѣ подобныхъ не нашли.
Вертясь Спекляный шаръ , дастъ удары съ блескомъ ,
Съ громовымъ сходственны сверканіемъ и прескомъ.
Дивился сходству умъ ; но видя малость силъ ;
До лѣта прошлаго сомнишенъ въ помѣ былъ ;
Довольствуя однѣ чрезъ любопытство очи ,
Искалъ въ помѣ перемѣнъ пріятныхъ дни и ночи ;
И больше въ помѣ одномъ раченія имѣлъ
Чтобъ силою Стекла болѣзни одолѣлъ ;
И видѣлъ часто въ помѣ успѣхи вожделѣны.
О коль со древними дни наши несравненны !
Внезапно чудный слухъ по всѣмъ странамъ печетъ ,
Что онъ громовыхъ стрѣлъ опасности ужъ нѣтъ !
Что таже сила пучь гремящихъ мракъ наводитъ ,
Котора онъ Стекла движеніемъ исходитъ ,
Что зная правила извисканны Спекломъ ,
Мы можемъ опврапить онъ хранимъ нашихъ громъ.
Единство оныхъ силъ доказано спократно :
Мы лѣта нынѣ ждемъ пріятнаго обратно.

Тогда

Тогда о истиннѣ Спекло увѣришѣ насѣ ,
 Ужасный будешѣ ли безбѣденѣ грома гласѣ ?
 Европа нынѣ вѣ по всю мысль своѣ вперила ,
 И машины уже приспойны учредила.
 Я слѣдуя за ней , съ Парнасскихѣ горѣ схожу ,
 На время ко Спеклу весь трудѣ свой приложу.

Ходя за шайнами вѣ искусствѣ и природѣ ,
 Я слышу восхищенѣ веселый гласѣ вѣ народѣ.

ЕЛИСАВЕТИНА повсюду похвала

Гласитѣ премудрости и щедрости дѣла.

Злапья времена ! о кропкѣ законы !

Народу Своему прощаетѣ миліоны ;

И пользу общую отечества прозря ,

Ученію величѣ расширишѣся вѣ моря ,

Умножишѣ бодрость вѣ немѣ щедрошою Своею !

А Ты , мой Меценатѣ , присудшвуя предѣ Нею

Какой наукамѣ путь спарашѣся отккрышѣ ,

Предѣ свѣпомѣ вѣ помѣ могу свидѣпель вѣрной быть.

Тебѣ похвальны всѣ прѣяшны и любезны ,

Что шщашѣя постигашѣ ученія полезны.

Мой посильные и малые труды

Коль часто передѣ Ней воспоминаешѣ ты !

Услышанному бышѣ Ея кропчайшимѣ слухомѣ ,

Есть новымѣ бышѣя живошворитѣся духомѣ !

Кшо кажешѣ старыхѣ смыслѣ во дняхѣ еще младыхѣ ,

Томѣ будешѣ всѣмѣ примѣрѣ , доживѣ власовѣ сѣдыхѣ.

Кшо склонность вѣ щастіи и добротѣ являетѣ ,

Томѣ щастіе себѣ недвижно утверждаетѣ.

Всякѣ чувствуетѣ вѣ Тебѣ и хвалитѣ обое ,

И небо чаемыхѣ покажетѣ збышѣе.



Опыт комментария

«М. В. Ломоносов, обедая однажды у И. И. Шувалова, был в кафтане с большими стеклянными пуговицами, какие тогда нашивали и какие мы видали только в маскарадах. Кто-то из гостей того времени — петиметр того времени — неосторожно заметил, что стеклянные пуговицы давно уже не в моде. Ломоносов со свойственной ему горячностью отвечал, что, не следуя моде, он предпочитает их металлическим и всяким другим и всегда будет носить их из уважения к стеклу. И начал исчислять пользы, доставляемые стеклом в домашнем быту, ремеслах, художествах, науках и проч., и проч. Исчисленные Ломоносовым пользы стекла показали так важны хозяину, что он просил своего гостя описать все в стихах. И следствием того было известное послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла“. Справедливо ли это происшествие? Теперь между нами живых свидетелей нет, но так оно дошло до нас по рассказам и по преданию. Судя, однако ж, по характеру ученого поэта — горячему, пылкому, настойчивому, — можно не только допустить возможность события, но нельзя даже много и сомневаться. Самое начало послания:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов
и проч.,

служит подтверждением и доказательством бывшего спора о стекле».

*П. К. Анекдот о Ломоносове.
Москвитянин. 1845. Ч. I. С. 17–18.*

«30 декабря. Сего числа сов. и проф. г. Ломоносов репортом Канцелярии представил, что намерен он напечатать на своем коште письмо о пользе стекла, писанное к действительному Ея Имп. Величества камергеру и кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову в четверть, 400 книжек, 20 на александрийской бумаге, теми литерами, которыми печатаны ево трагедии. Определено: оногo письма против ево требования немедленно напечатать...»

Материалы для биографии Ломоносова / Собраны экстраординарным академиком Билярским. СПб., 1865. С. 186.

Стихи 1-2

*Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,*

Эти зацитированные до блеска строки звучат даже в тех контекстах, где, казалось бы, достаточно названия ломоносовского сочинения. Так, выстраивая историю русской литературы, В. Г. Белинский отдает дань историческому значению деятельности Ломоносова, но, когда критик анализирует современную ему литературу, восхищаясь и одновременно ругая пушкинскую «Родословную моего героя», то ломоносовские строки и послание к Шувалову в целом становятся предметом иронического сравнения: «На кого же тут пенять, на кого жаловаться? Какие тут аристократы и демократы? Тут дело должно идти просто о мотовстве, о незнании хозяйства, о нерасчетливой жизни на авось, о естественном раздроблении имений через право наследства <...>. Вместо этой юмористической повести Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользе свеклосахарных заводов или о превосходстве плодopеменной системы земледелия над трехпольною, как Ломоносов написал послание о пользе стекла, начинающееся этими наивными стихами:

*Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.*

А между тем «Родословная моего героя» написана стихами до того прекрасными, что нет никакой возможности противиться их обаянию, несмотря на их содержание» [Белинский, VI, 459].

Этим же эпитетом «наивный», правда, с большим уважением определит научную поэзию XVIII века поэт и мыслитель рубежа XIX–XX веков

О. Э. Мандельштам: «Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, <...> из знаменитого ломоносовского послания:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже минералов.

Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности <...>» [Мандельштам, II, 266].

В примечаниях к одному из стихотворений Д. И. Хвостова сказано, что черновой вариант начальной строки ломоносовского послания выглядел так: «Неправо мнят, Иван Иванович Шувалов» [Хвостов, 208]. Пока нет сведений, подтверждающих достоверность этого указания, однако первое стихотворное послание Ломоносова к патрону как раз имеет полное имя, отчество и фамилию высокопоставленного адресата: «Письмо к его высокоородию Ивану Ивановичу Шувалову» (1750).

Печатный вариант фразы с дополнительным пиррихием, более разговорным синтаксисом, свернутым до фамилии обращением и с ее полемическим пафосом стал крылатым. Возможным прообразом этой знаменитой ломоносовской формулы исследователи [Основа] считают начальные строки «Опыта о человеке» Александра Поупа («Essay on Man», 1733–1734), которые обращены к Болингброку, покровителю поэта:

Awake, my St. John! leave all meaner things
To low ambition, and the pride of Kings.
[Роу, 11]

В осуществленном учеником Ломоносова Николаем Поповским переводе поуповской поэмы, имевшем скандально печальную судьбу, фамилия патрона заменена титулом:

Доколе нам, Милорд, в забвении сем быть,
И малых толь вещей себя надеждой льстить?
[Поповский, 12]

Современный перевод этих строк следующий:

Внемли, Сент-Джон! Оставим дольний хлам
Ничтожеству, а гордость королям...
[Поуп, 5]

Собственно говоря, из поуповской формулы Ломоносов мог заимствовать лишь прием обращения к патрону по имени. Полемический пафос этого двестишья отражает научную стратегию Ломоносова, направленную на развенчание застывших мнений (религиозных и научных): «Нет, это не так, потому что...» Именно в таком виде этот полемичный посыл, вызов догмам присутствует и в научных трудах Ломоносова. Например, в работе «О слоях земных» ученый, сражаясь с ханжами-церковниками, отвергает идею неподвижности и неизменчивости мира и отстаивает право на его научное познание: «*Напрасно многие думают*, что все, как видим, с начала Творцом создано будто не токмо горы, доли и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом и потому-де не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковы рассуждения весьма вредны приращению всех наук...» [*Ломоносов, V, 574–575*].

И сильная начальная позиция этих строк, и полемичность, и непосредственное обращение к адресату послания, и ритмика все же не позволяют до конца понять и объяснить гипнотическую настойчивость в цитировании этих строк, их особую притягательность для русского человека. Эти стихи попадают в различные модусы художественного и нехудожественного слова. И в сатирический дискурс: ломоносовские строки о Шувалове цитирует «здравомысленный» заяц из одноименной сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. И в научно-художественный: эти строки декламирует одна из героинь романа «Искатели» Даниила Гранина, утверждая, что Ломоносов — первый и единственный «сумел сложные научные проблемы выразить вдохновенным поэтическим словом». Эти строки обрели некие свойства самостоятельной формулы (своего рода паремии), что позволяет им выступать в роли эпиграфов: например, к поэме «Майское утро» М. В. Гундарина, к историческому роману-эссе «Жизнь Менделеева» Валентина Старикова.

Эту фразу активно трансформируют и интегрируют в нужный контекст филологи. Александр Жолковский предваряет один из своих разборов эпиграфом-посвящением, «ремейком» ломоносовского двестишья:

Неправо о вещах те думают, Мельчук,
Кто чтут поэтику последней из наук...

[*Жолковский, 33*]

Сходным образом поступает В. А. Кошелев в названии вступительной статьи к изданию: Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика (М., 1995): «Неправо о вещах те думают, Аксаков...».

Адресат послания. Во многом благодаря этим первым строкам ломоносовского «Письма» сбылось пророчество К. Н. Батюшкова: мы забыли «...однофамильца Шувалова⁵, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностью, веселостью и учтивостью, достойною времен Людовика XIV: но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него — Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше, — благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга» [*Батюшков*, I, 48].

Биография *Ивана Ивановича Шувалова (1727–1797)*, фаворита *Елизаветы Петровны (1709–1761)* и одного из первых российских меценатов, восстановлена по запискам современников и потомков, содержащих много преданий и исторических анекдотов, подтверждений которым вряд ли уже можно найти. Однако в этих преданиях, рассказанных и друзьями, и недоброжелателями Шуваловых, фаворит императрицы предстает фигурой замечательной во многих отношениях. Он не стремился к власти — и оказался у самого трона. Получил выгодное положение в обществе — и отказался от милостей властительницы полумира, не приняв графского титула, отвергнув деньги и имения, которыми Елизавета Петровна хотела одарить его. Но Иван Иванович знал толк в искусстве и с уважением относился к наукам.

Первые сведения о Шуваловых появились в эпоху Петра I, но понастоящему громко фамилия Шуваловых начинает звучать в России, а за

⁵ Речь идет об *Андрее Петровиче Шувалове (1744–1789)* — сыне фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова, племяннике И. И. Шувалова. Заметим, что ему принадлежит перевод на французский язык «Письма о пользе Стекла», вышедший в 1802 году в Париже [*Ланжевен*, 426], отыскать который пока не удалось. Кроме того, Андреем Петровичем написана ода на смерть Ломоносова, напечатанная летом 1765 года под названием „Ode sur la mort de Monsieur Lomonosof de l'Académie des sciences de St. Petersbourg“ (Paris, 1765). В приложении к этой оде им также был опубликован прозаический перевод на французский язык «Утреннего размышления о Божием Величестве» Ломоносова.

тем и в Западной Европе, после восшествия на трон Елизаветы Петровны. Семейство Шуваловых становится одним из самых влиятельных в России, и все потому, что камер-юнкеры великой княжны Елизаветы — *Александр (1710–1771) и Петр (1711–1762) Ивановичи Шуваловы* — оказались «в нужное время в нужном месте», а именно в ночь на 25 ноября 1741 года они были рядом с дочерью великого Петра. Эта ночь стала счастливым случаем, который превратил незавидного положения цесаревну в Государыню Императрицу Российской империи, а братьев Шуваловых — сначала в действительных камергеров, затем — в генерал-поручиков, позже — в графов (1746). На протяжении двадцатилетнего правления Елизаветы (1741–1761) Шуваловы занимали высокие должности и находились в высших чинах Российской империи: в 1744 году Петр Иванович стал сенатором, а в 1746 году Александр Иванович возглавил мрачное учреждение политического сыска — Тайную канцелярию. Без старших Шуваловых было бы невозможно возвышение их младшего двоюродного брата — Ивана Шувалова, того самого, к кому и обращено послание Ломоносова.

Иван Шувалов — двоюродный брат Александра и Петра и тоже Иванович. Одинаковое отчество они получили благодаря своим отцам Иванам Максимовичам. Как сообщает биограф Шувалова, «в старину <...> не редко два родные брата носили одно имя, различаясь прозвищами *большой* и *меньшой*» [Бартенев, 2]. Отец Ивана — Иван Максимович младший — служил капитаном в гвардии под началом графа Миниха⁶, получил тяжелую рану на приступе к Очакову (1737) и умер в глубокой старости, не увидев счастья своего сына (Шувалову было 10 лет, когда умер его отец).

О матери Ивана Шувалова сохранилось мало сведений. Известно, что происходила она из рода Ратиславских (вероятно, польского) и застала то время, когда ее сын стал самым близким к императрице человеком и одним из самых влиятельных вельмож России. И еще — «она звалась Татьяной». С этим именем связано историческое предание, имеющее непосредственное отношение к российскому просвещению.

Дело в том, что царский указ об учреждении Московского университета был подписан 12 января (25 января) 1755 года. Согласно преданию Шувалов поднес на высочайшую подпись этот указ в день святой мученицы Татианы, чтобы обрадовать матушку своим новым назначением на должность куратора Московского университета. Учреждение первого российского университета как подарок на именины?! Неисповедимы пути истории!!!

⁶ См. о Минихе наш комментарий к Стиху 10.

**Не могу преминуть, чтобы не предложить законодательный вариант «именинного подарка» Шувалова — «1755 Генваря 12. Высочайше утвержденный проэкт об учреждении Московского Университета»:*

«Доклад. Вашего Императорского Величества Действительный Камергер и кавалер Шувалов, сего Июля 19 дня в Правительствующий Сенат подал с приобщением проэкта и штата доношение следующего содержания:

Как наука везде нужна и полезна и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми довольно известно.

Свидетельство видимаго Нашего века, от Бога дарованного в благополучии Нашей империи Государя Императора Петра Великого, премудрый сей Государь, Божественным своим предприятием исполнение имел чрез науки, бессмертная его слава оставила в вечныя времена, разум превосходящая дела, в толь краткое время перемена наших нравов и обычаев, невежеством и долгим временем учрежденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, все к пользе общаго Нашего жития, наконец все блаженство Нашей жизни, в которой безчисленные плоды всякаго добра всечасно чувствам Нашим представляются. <...>

Установленная здесь Государем Петром Великим С. Петербургская Академия, которую, Наша Всемиловитившая Государыня Божию милостию нами царствующая, между многими к благополучию своих подданных милосердиями немалою суммою против прежняго к вящшей пользе и к размножению и ободрению наук и художеств пожаловать изволила. Сия Академия со славою у иностранных и с пользою здешнюю свои плоды производить.

Но пространная Ея Императорского Величества не может довольствоваться одним оным ученым корпусом, ибо за дальностию, как Дворяне, так и разночинцы к приезду в С. Петербург многия имеют препятствия, хотя первые к надлежащему воспитанию и научению к службе Ея Императорского Величества, кроме Академии, в Сухопутном и Морском Кадетском корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытый путь имеют; но для учения вышним наукам желающим Дворянам, или тем, которые в вышереченныя места для каких либо причин не записаны и для генерального учения разночинцам, за нужно нахожу покорно представить Правительствующему Сенату мое мнение о учреждении в Москве Университета для Дворян и разночинцев по примеру Европейских Университетов, где всякаго звания люди свободно наукою пользуются, и две Гимназии, одну для Дворян, другую для разночинцев, кроме крепостных людей. <...>

Все почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя, иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждо произвести из детей своих достойных людей в службу Ея Императорского Величества, а иные не имея звания в науках, или по необходимости, не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю свою жизнь препровождали.

Такие в учениях недостатки раченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно произведет, паче когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная Ея Императорского Величества Империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей и ко исполнению начатых предприятий и ко учреждению впредь по знатым Российским городам Российскими Профессорами училищ, от которых, думаю, во отдаленном простом народе суеверие, расколы и тому подобныя от невежества ереси истребятся. <...>

Оный проэкт Правительствующий Сенат, рассматривая, весьма полезным нашел и предписанной от сего важнаго дела плод к пользе Государственной без сомнения ожидать надлежит; а Кураторами кому быть, о том Всевысочайшее Вашего Императорского Величества соизволение предает. Что ж принадлежит для содержания онаго Университета и Гимназии, то хотя он Господин Камергер и полагает до 10.000 рублей, но дабы оный Университет и Гимназии приумножением достойных Профессоров и учителей наиболее в лучшее состояние приходили, по рассмотрению Правительствующего Сената, ежегодно следует отпускать до 15.000 рублей, ныне ж на первой случай для покупки книг и прочаго сверх годовой определенной суммы, дать единойжды до 5.000 рублей. <...>

Резолюция. Быть по сему. Кураторами быть Камергеру Шувалову и Лаврентию Блюментросту, Директору Алексею Аргамакову, а в дополнение штата дается воля Кураторова» [ПСЗРИ, XIV, 287–289].

Как когда-то его братья, Иван Шувалов, юноша с приятной внешностью, спокойным нравом и прилежностью в учебе, был определен в пажы к царскому двору. Будучи пажом, продолжил обучение, не проявив выдающихся способностей в какой-либо области, но более всего занимаясь «изящной словесностью». «Любитель муз» — одно из распространенных «имен» Шувалова и означает ценителя прекрасного. Судьба позволила Шувалову стать подлинным эстетом — созерцать красоту искусств, защищать ее и способствовать созданию красоты. Судьба подарила ему благосклонность императрицы.

Елизавета Петровна обратила на Ивана Шувалова особое — императорское и женское — внимание в 1749 году, материальным выражением чего стали золотые часы и новая должность — камер-юнкер⁷. Любопытно, что повышение в чине случилось накануне именин, только теперь именин императрицы — 5 сентября 1749 года. Об этом событии «Санктпетербургские Ведомости» сообщили следующим образом: «Прошлаго Сентября 4 дня в Воскресенском монастыре ея императорское величество всемилостивейше пожаловала своего камер-пажа Ивана Ивановича Шувалова в свои камер-юнкеры с жалованием, по чему прочие ея величества камер-юнкеры получают» [*Санктпетербургские Ведомости*, 678].

Кстати сказать, в этом публичном оповещении о *случае*, то есть о внезапном возвышении, выпавшем на долю Ивана Шувалова, участвовал и Ломоносов, который оказался в центре курьезного происшествия. Дело в том, что *Григорий Николаевич Теплов (1717–1779)*, адъютант Академии Наук и ассессор Канцелярии⁸, в просьбе Академии Наук внести в русские и немецкие газеты известие о пожаловании камер-пажа И. И. Шувалова новым чином не указал его отчество:

«Высокоблагородный гдн Советник,
Гдрь мой!

В силу полученнаго из правительствующаго Сената указа, с коего при сем приобщаю копию, о пожаловании камер пажа Ивана Шувалова в камер юнкеры, прошу внести в русския и немецкия газеты, ежели не внесено, впротчем пребываю

Октября 16 дня Вашего Высокоблагородия
1749 года покорный слуга
Москва. Григорей Теплов» [*Биллярский*, 134].

Когда же эта оплошность обнаружилась, Теплов решил переложить вину на академических служащих, упрекая их в «неосторожности и в нерадении», что могло дорого стоить виновникам, по-видимому, не знавшим, что молодой Шувалов награжден не только чином, но и любовью императрицы.

⁷ Камер-юнкер (от нем. Kammerjunker — комнатный молодой дворянин) — одно из низших придворных званий. Первоначально камер-юнкером назывался дворянин, обслуживающий царственную особу в ее комнатах. Должность камер-юнкера существовала в германских государствах и в Дании. В России в соответствии с «Табелью о рангах» (1722) камер-юнкер — младшее придворное звание (ниже камергера). Отметим, что А. С. Пушкин имел звание камер-юнкера.

⁸ В определениях же Ломоносова Теплов — «коварник» и «лукавец».

Ломоносов не принимает в свой адрес обвинений в «нерадении» и пишет И.-Д. Шумахеру от 17 ноября 1749 года:

«Высокоблагородный г. советник,
милостивый государь мой!

В присланном от вашего высокоблагородия ко мне от 15 числа сего месяца письме объявлено мне, якобы несмотрением моим в московском артикуле здешних „Ведомостей“ пропущено отечество двора е. в. камерюнкера г. Ивана Ивановича Шувалова. На сие вашему высокоблагородию доношу, что по данной мне от Академической канцелярии инструкции должен я рассматривать только один перевод российский, а до российских артикулов нет мне никакого дела, ибо оные присылаются от Канцелярии в Экспедицию и так, как есть, печатаются. Затем в них я ничего переменять не должен, кроме погрешностей в российском языке, а особливо что в данной инструкции предписано от всяких умствований удерживаться. В прочем с должным почтением пребываю

вашего высокоблагородия
покорнейший слуга
Михайло Ломоносов

Ноября 17 дня
1749 года» [*Ломоносов*, X, 468].

Ломоносов ссылается на «Инструкцию в Ведомственную экспедицию», где на него возлагался только просмотр переводов, которые он должен был «без всяких умствований» «править и последнюю оных ревизию отправлять» [*Ломоносов*, X, 806]. Этот случай приводим не только как любопытный курьез того времени и эпизод в истории возвышения Шувалова, но и как своеобразную точку отсчета в ломоносовско-шуваловских отношениях. Ломоносов, отвечая в Академии за «связи с общественностью», участвовал в публичном оповещении о фортуна Шувалова.

Более 10 лет, до самой смерти Елизаветы в декабре 1761 года, Шувалов состоял — по должности и по сердцу — в статусе фаворита Елизаветы Петровны, несмотря на большую разницу в возрасте (Шувалов был моложе императрицы на 18 лет). Он был в курсе всех важных государственных дел, особенно в последние годы царствования Елизаветы: через него подавали просьбы и доклады на высочайшее имя, к нему обращались в затруднительных случаях, когда необходимо было особое распоряжение императрицы [*Бартенев*, 10].

Шувалов никогда ничего не просил у императрицы и даже отказался от жалуемой ему волости в 6000 душ. Тогда императрица изволила пригото-

вить у себя в почивальной сундук с золотом в слитках и в монетах. Перед кончиной императрица приказала перенести сундук в покои Шувалова. После того как на трон взошел Петр III, Шувалов отдал ему ключи от этого сундука [Голицин, 91].

***Не могу преминуть, чтобы не сообщить об одной истории с Шуваловыми, рассказанной лицом, принадлежащим скорее к недоброжелателям, если не сказать врагам, семейства Шуваловых, — князем Яковом Петровичем Шаховским (1705–1777). Противостоящий почти безгранично властвовавшим Шуваловым, по большей части Петру Ивановичу, даже он отзывается об И. И. Шувалове с уважением, без злобы и обиды.*

В «Записках» Шаховского есть рассказ о происшествии с пивоваренным заводом, где он разместил больных солдат, чем навлек на себя гнев, видимо, не столько императрицы, сколько ее приближенных. В этой связи примечательно отношение Шаховского, который на тот момент был уже членом правительствующего Сената, к Ивану Ивановичу Шувалову. Князь Шаховской пишет: «Я в то же время с первою почтою послал от себя сообщение в главную дворцовую канцелярию, с довольным изъяснением по какой необходимости оной порожний и уже к ломке назначенной пивоваренной ведомства их двор, на несколько времени без дозволения их занял, и уверял, что я его вскоре опорожню, и за все в нем поправки платы требовать не буду. К Ивану же Ивановичу Шувалову, которой тогда в отменной у Ея Императорскаго Величества милости и доверенности находился, о всем же том приключении, и все мои по тому производства и исполнения обстоятельно описал, прося притом, ежели по заочности мои недоброжелатели инако о том разглашать в повреждение мне будут, от таких бы справедливо меня защитил» [Шаховской, I, 155].

Подобное письмо, разъясняющее доброе, но самовольное дело, князь Шаховской направил и своему другу, майору гвардии, Василию Александровичу Нащокину и вскоре получил ответы: «Его Превосходительство Иван Иванович Шувалов своим благосклонным ко мне писанием весьма похвалял учиненной моей в призрении больных поступок, и обнадеживал меня своим защищением»; «Дело госпитальное <...> первой тогда при дворе бывший фаворит, господин Шувалов, похвальным письмом своим то мое производство подкрепил, <...> между тем я оному письму господина Шувалова обрадовался, якоб с небеси присланной, охранительной от всяких мне злоключений грамоте, пренебрег и посмеялся в мыслях моих пустым и немиролюбным жалобам и разглашениям на меня от судей дворцовой канцелярии...» [Шаховской, I, 155–157].

Защита Ивана Ивановича Шувалова не всегда оказывалась действенной. В случае с самовольным гуманистическим порывом князя Шаховского (переделыванием московской пивоварни в госпиталь) она как раз таки успеха не имела: Сенат потребовал официальных объяснений; по приказу графа Александра Ивановича Шувалова больные солдаты были переведены в дом Шаховского. Пришлось снова писать фавориту, и его «благосклонностью» дело разрешилось: «<...> ко мне же было при том от Ивана Ивановича Шувалова благосклонное письмо с весьма сожалительными выражениями о том моем оскорбительном, а ему до моего письма неведомом приключении; и он от имени Ея Величества в том уверял меня, что Ея Величество, увидя мое оправдание, жалеет, что так скоро и неосмотрительно со мною учинено; и так оное мне приключение сим кончилось, постой из моих палат в тот же день выведен» [Шаховской, I, 172–173].

Этот исторический анекдот демонстрирует механизмы фаворитизма: не имея ни княжеского, ни графского титула, Иван Иванович Шувалов выполнял роль посредника между государственными мужами и императрицей, улаживая конфликты и примиряя противоборствующие стороны.

После смерти Елизаветы Петровны Иван Иванович отошел от государственных дел, посвятив себя путешествиям и искусствам. В 1764 году он отправляется в путешествие по Европе, затянувшееся на много лет.

Шувалов жил в Италии, Франции, совершил «паломничество» в Швейцарию, отдав дань модного уважения «фернейскому старцу» (Вольтеру). После восшествия на престол Екатерины II Шувалов «заблагоразсудил от двора на время удалиться» [Голицин, 92]. Это «время» длилось около 15 лет. Он жил в Вене, где был принят со всем уважением, затем в Париже, где был принят еще лучше. Герцог Орлеанский, первый принц крови и сын бывшего регента при малолетнем короле Людовике XV, очень полюбил Шувалова и перед отъездом того из Парижа подарил ему табакерку с финифтяным портретом Петра Великого, которую российский царь сам подарил правителю в «знак благодарности за отличный прием» [Голицин, 93].

Шувалов получил также к новому году подарок (*Etrennes*) от вдовствующей супруги генерала фельдмаршала Люксанбург. По заказу герцогини была сделана золотая записная книжка, на которой финифтью были выгравированы адресованные Шувалову стихи Мармонтеля:

«Le souvenir est duex a l'homme heureux et sage,
Qui su jouir de tout, et n'abusir de rien.

Et qui dela faveur fit un si bon usage,
Que memeles rivaux n'en ont dit que du bien.

(Как сладко воспоминание прошедшего для человека, одаренного счастьем и благоразумием, которой умел всем наслаждаться и ничего не употреблять во зло, и который царскою милостию так пользовался, что самые соперники не могли его не хвалить)» [Голицин, 93].

Потом Шувалов отправился в Италию, жил в Риме, Флоренции, Неаполе, добился милостей от папы, сумев получить у него разрешение сделать копии с лучших скульптур и послать их в Петербург.

«Славный» Вольтер, с которым Шувалов видался и бывал прежде в переписке, в одном письме к Даламберту об нем упоминая, прибавляет: «C'est un des hommes les plus polis et les plus aimables que j'aie jamais vu» [Голицин, 94] («Это человек самый обходительный и самый очаровательный из всех, кого я когда-нибудь видел». — Т. А.).

После возвращения в 1778 году из-за границы Шувалов был обласкан вниманием царствующей императрицы. Екатерина II устроила в его честь театрализованное представление и бал, повысила в чине до обер-камергера и при раздаче казенных деревень пожаловала ему три тысячи душ. Щедро был одарен Шувалов и Павлом I, пожаловавшим ему несколько деревень.

Приведем два письма, отражающих эти отношения вельможи и императора:

«Рескрипт Его Императорского Величества из Москвы от 9-го Апреля 1797 года.

Иван Иванович! поздравление ваше по случаю Моего коронования я приемлю с благоволением, так как всегда с благодарностию вспоминать буду попечение ваше обо Мне, во время Моего младенчества; не сомневаюсь притом и в продолжении вашего ко Мне усердия, коего цену Я знаю, и в доказательство того ознаменовал Я признательность к вам в день Моей коронации. Пребываю впрочем вам доброжелательный.

На подлинном подписано собственною Его И. В. рукою тако:

ПАВЕЛ.

Благодарственное от Ивана Ивановича.

Всемиловейший Государь!

Приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнейшее благодарение за пожалование мне деревень. Сия милость переменяла недостаточное мое состояние в довольное на всю мою жизнь, в которой во все время было и будет в сердце моем усердие, любовь и преданность к Вам, Всемиловейший Государь! (Писано 14 Апреля 1797 года)» [Голицин, 98].

Через полгода, в ноябре 1797 года, Шувалов умер, не успев воспользоваться щедрым подарком внучатого племянника своей возлюбленной, по указу которого елизаветинский вельможа был похоронен со всеми почестями.

Стих 2

Которые Стекло чтут ниже Минералов,

О минералах на Руси знали и до ломоносовских изысканий, и до Петровской эпохи. Горный промысел на Руси существовал с древних времен. В одну из первых «рудосыскных» экспедиций в 1491 году Великий князь Иван III Васильевич отправил двух немцев, Иоганна и Виктора, двух русских, А. Петрова и В. Болтина, и грека М. Ларева, дабы отыскать на реке Печоре серебряную руду. Вряд ли у этих первых «рудознатцев» был другой выбор, кроме как вернуться с вестью, что они нашли серебро (и медь). Правда, нашли они ее не там, где искали, а на реке Цильме, в трехстах верстах от Печоры. С того времени Россия начала добывать руду, выплавлять металлы и чеканить монеты [*Славянская энциклопедия*, 2, 140].

В XVII веке в России появляются первые крупные предприятия по переработке руды: железоплавильный Ницынский завод на реке Урале (1631), медеплавильный Григорьевский (Пыскорский) близ Соликамска (1633). Но именно по царской «инициативе» при Петре I была учреждена геологическая служба — Приказ рудокопных дел (1700), под чьим началом стали осваиваться горные области Урала, Алтая и Забайкалья. Горное дело подпало теперь под контроль государства. Позже, в 1718 году, Приказ был преобразован в Берг-Коллегию, возглавил ее сподвижник Петра Яков Брюс, генерал, человек высокообразованный, коллекционировавший книги и... минералы.

Чуть ранее, в 1716 году, был организован Минеральный кабинет Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. В это же время в Кунсткамеру была доставлена обширная по тому времени коллекция минералов (1195 образцов), раковин и диковинных камней, купленная Петром I в Данциге у доктора медицины Готвальда. Эта коллекция, дополненная образцами с российских месторождений, с 1719 года была выставлена для публики в Санкт-Петербурге в здании Кикиных палат. Кунсткамера вошла в состав учреждений Академии Наук вместе с Минеральным кабинетом, который превратился в отдельную научную организацию, впоследствии — в Минералогический музей.

В сентябре 1736 года Ломоносов вместе с Д. Виноградовым и Г. У. Райзером отплывает из Кронштадта в Германию для изучения химии и горного дела и в ноябре прибывает в Марбург. Спустя два года Ломоносов отправляет в Петербургскую Академию Наук свое первое научное сочинение «Ра-

бота по физике о превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения предшествующей жидкости». К марту 1739 года он заканчивает «Физическую диссертацию о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул», а к июлю 1739 года добирается до Фрейберга, где в числе других русских студентов попадает под начало горного советника («берграта») *Иоганна Фридриха Генкеля (1679–1744)*, одного из самых выдающихся химиков, минерологов и металлургов того времени. Ломоносов и другие его соученики занимались в маленькой лаборатории, познавая внешние признаки минералов, их внутреннюю структуру, проводя исследования с помощью огня и «растворяющих средств»⁹.

Вернувшись из-за границы в июне 1741 года, Ломоносов был прикомандирован к Минеральному кабинету, о чем свидетельствует распоряжение Канцелярии Академии Наук: «Оного студента Ломоносова отослать к доктору Аману¹⁰ при письме, дабы оный дохтор его, Ломоносова, обучал натуральной истории, а наипаче минералам, или что до оной науки касается, с прилежанием» [*Материалы для истории Имп. Академии Наук, IV, 694*].

До него систематизацией и приведением в порядок богатой коллекции минералов-раритетов (около 3000 образцов) занимались приглашенные в Российскую Академию Наук талантливые европейские ученые *Иоганн-Георг Гмелин (1709–1755)* и *Иоганн Амман (1707–1741)*. Но под руководством блестящего ученого, питомца Лейденского университета, члена Лондонского Королевского общества, натуралиста в широком смысле слова И. Аммана Ломоносов обучался и работал недолго: через полгода Амман умер. Другой, не менее одаренный ученый, уроженец Тюбингена, получивший медицинское образование, академик И.-Г. Гмелин в 1733 году уехал, не окончив разбора коллекции, в Камчатскую экспедицию, откуда вернулся в Академию лишь через десять лет [*Радовский, 31*]. Солидные познания в химии и естественной истории, отработанные на практических занятиях в «немецкой стороне», позволили Ломоносову завершить труд Гмелина по описанию минеральных раритетов.

Около пяти лет Ломоносов разбирал коллекцию и составлял каталог образцов, напечатанный в академическом издании на латинском языке под на-

⁹ Описание лаборатории и характеристику научного значения Генкеля см.: [*Раскин, Шафрановский, 76–86*].

¹⁰ Прикрепление к доктору И. Амману для Ломоносова можно считать счастливой случайностью, которая имела под собой личный интерес начальника Академической Канцелярии И.-Д. Шумахера. Дело в том, что И. Амман был зятем И.-Д. Шумахера, а последний «не переставал сколачивать группу из близких и верных ему людей. В отличие от второго зятя Шумахера, И. И. Тауберта, <...> заправил Академической канцелярии, Амман был человеком науки и в академических дрязгах участия не принимал». См. подробнее: [*Радовский, 31*].

званием «*Musei Imperialis Petropolitani. Vol. 1, pars tertia qua continentur res naturales ex regno minerali*» (1745), в русском варианте — «Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии Наук».

Коллекции Минерального кабинета были выставлены для обозрения в ряде комнат нижнего этажа старой Кунсткамеры и размещались в 17 шкафах, причем 4 шкафа занимала коллекция образцов из России, а также модель одного из уральских рудников.

Ломоносов написал несколько работ по минералогии: «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757), «Первые основания Metallургии, или Рудных дел» (1763) и статью «О слоях земных». Совершил он и немало открытий в области минералогии. Развил представления о связи минералов с вулканизмом, землетрясением и горообразованием... Заявил об атомном строении минералов, о разновозрастном состоянии рудных жил, о растительном происхождении каменного угля и янтаря, о кристалличности золота, меди и других минералов... Правильно и просто объяснил происхождение залежей каменной соли... Указал на сходство минералов и искусственных солей, характеризовал минералы по их кристаллографическим и химическим свойствам...

О минералах Ломоносов знал, если не больше всех в России того времени, то, во всяком случае, очень много. Ломоносов планировал написать фундаментальное исследование «Российская минералогия». Он обращается к правительству с проектом по составлению коллекции минералов со всей России. В этой работе должны были принять участие не только люди ученые (знатоков минералов было мало), но и местное население. Ломоносов составляет подробную инструкцию «Известие о сочиняемой российской минералогии», в которой были даны детальные указания по поиску и пересылке образцов минералов. В 1763 году это «Известие» было разослано по всем частным и государственным металлообрабатывающим предприятиям страны.

Ломоносовский клич был услышан: со всей России присылали на имя Ломоносова и в адрес Берг-коллегии образцы руд и минералов, часто с подробным описанием их местонахождения и свойств. В составлении коллекции руд и минералов приняли участие более ста заводов. Ломоносов не успел завершить свой проект, но и после смерти ученого в Петербург продолжали доставлять объявленные в научный розыск образцы. Завершил начатое коллегой-предшественником дело в начале XIX века академик *Василий Михайлович Севергин* (1765–1826), издавший «Подробный словарь минералогический» (в 3-х томах; 1807) и книгу «Описание минералогического землеописания Российского государства» (в 2-х томах; 1809). Севергин явился продолжателем дела Ломоносова, став одним из основателей Минералогического общества в Петербурге (1817).

**Не могу преминуть, чтобы не сказать о публичном выступлении Василия Севергина в памятный — ломоносовский — 1805 год в Академии Наук с похвальным словом Ломоносову. В этой научно-апологетической речи среди многочисленных заслуг своего предшественника ученый-минералог начала XIX века подробно рассказывает о поэтической стезе Ломоносова, помяная и «ученое» письмо к Шувалову: «Согласно истине должны мы признаться, что муж сей едва ли не превзошел Пиндара и др. величайших лирических Пиитов, или по крайней мере с оными сравнялся. Но первое вероятнее последнего. <...> И только ли одне похвальные оды составляют славу сего мужа в стихотворстве? <...> Не повторяем ли с удовольствием еще и ныне чтение его трагедий, надписей, письма о пользе стекла <...> и др. его стихотворений?» [Севергин, 24].*

За ломоносовской строкой о том, что «ниже» или «выше» — минералы или стекло, стоят годы учебы и тяжелой практики в Саксонии и многолетние научные исследования на родине. Ученый-поэт знал толк в минералах, но ко времени написания этих строк его научным вниманием завладели «цветные смальты». Фраза «в защиту» стекла отчасти отражает полемику «двух Ломоносовых»: Ломоносова 1740-х годов, знающего о минералах почти все, и Ломоносова 1750-х годов, увлекшегося новым стекольным делом, которое нуждалось в обосновании и популяризации.

Отметим также, что, хорошо разбираясь в свойствах и минералов, и стекла, Ломоносов конструирует *иерархию вещей*: стекло не ниже минералов (!). Принцип иерархичности пронизывает все уровни русской культуры XVIII века. Заданная Петровской эпохой, в частности «Табелью о рангах», вертикаль власти приобрела всеобщий характер и пронизала собой все сферы человеческой деятельности. Иерархическому принципу подчинились не только служащие государства российского, но и литературные жанры, стили и... минералы, на которые Ломоносов распространяет то самое почитание, которым были окружены в обществе чины. Как и в общественной жизни, главным критерием иерархичности выступает польза (и красота).

Стих 4

Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.

Наряду с обозначением жанра произведения (письмо) и главного предмета изображения (Стекло) в заглавие своего сочинения Ломоносов поместил слово, задавшее основной пафос повествованию и раскрывающее основную идею текста. Значимость этого слова трудно переоценить: *польза* — это одно из базовых понятий культурной парадигмы XVIII века. *Польза*

за/полезность становятся универсальным критерием оценки жизненных явлений, будь то человек, который рассматривается с точки зрения его «полезности» в государственной машине, или поэзия, которая полезна или бесполезна для воспитания полезного члена общества.

Извечная проблема соотношения формы и функции, красоты и пользы, Аполлона Бельведерского и печного горшка — проблемой в начале и середине XVIII века в России не являлась. Вслед за античными философами и эстетиками российские авторы осознали и объявили *пользу* и *красоту* универсальными категориями. Мощный пафос утилитарности Петровских реформ определил сильную позицию *пользы* в этой паре, *польза* сохранила свое доминирующее над *красотой* положение вплоть до последней трети XVIII века. «Авторитет практического дела» и «поэзия ремесла» (Ю. М. Лотман) — вот что стало знаменем эпохи Просвещения.

Понятие пользы настолько наполнилось универсальными смыслами, что обрело онтологические обертоны. Ломоносов признает пользу служения обществу (конечно, с помощью наук!) сутью человеческой жизни, о чем торжественно объявляет 6 сентября 1751 года в публичном собрании Императорской Академии Наук, произнося «Слово о пользе Химии», а затем печатая его отдельным изданием. Он пишет:

«Рассуждая о благополучии жития человеческого, слушатели, не нахожу того совершеннее, как ежели кто приятными и беспорочными трудами *пользу* приносит. Ничто на земли смертному выше и благороднее дано быть не может, как упражнение, в котором красота и важность, отнимая чувство тягостного труда, некоторою сладостию ободряет; которое, никого не оскорбляя, увеселяет неповинное сердце и, умножая других удовольствие, благодарностию оных возбуждает совершенную радость. Такое приятное, беспорочное и полезное упражнение, где способнее, как в учении, сыскать можно? В нем открывается красота многообразных вещей и удивительная различность действий и свойств, чудным искусством и порядком от всевышнего устроенных и расположенных. Им обогащающийся никого не обидит, затем что неистощимое и всем обще предлежащее сокровище себе приобретает. *В нем труды свои полагающий не токмо себе, но и целому обществу, а иногда и всему роду человеческому пользою служит.* Все сие коль справедливо, и коль много учение остроумием и трудами тщательных людей блаженство жития нашего умножает, ясно показывает состояние европейских жителей, снесенное со скитающимися в степях американских» [Ломоносов, II, 349].

Вернемся к комментируемой строке. Она замечательно иллюстрирует диалектический закон единства и борьбы противоположностей: антиномические по своей природе *польза* и *красота* выступают равно значимы-

ми и равно сильными понятиями, образующими две части стиха с тождественными синтаксической схемой и лексическим составом. Обе части, расположенные в единой плоскости строки, сохраняют автономию, границы которой маркированы пунктуационным знаком. Однако каждая из них стремится к смысловому доминированию и имеет на это все шансы: первая («Не меньше польза в нем») — в силу начальной позиции в строке, вторая («не меньше в нем краса») — в силу финальной. Рифменный акцент на *красе* и контротношения с *пользой* в заглавии послания выдвигают красоту на иерархически верхнее положение, правда, ненадолго.

В сюжете «Письма» Ломоносов пытается балансировать между *пользой* и *красотой*, между практической сферой применения стекла и эстетическим наслаждением, даруемым им. Но у Ломоносова нет *красоты* без *пользы*: эти две категории в послании успешно синтезированы в образе «полезной красоты»¹¹ — в самом желанном для той эпохи и утопичном по своей природе.

В названиях и, конечно, в содержании ломоносовских сочинений понятие пользы является приоритетным, к примеру: «Слово о *пользе* Химии» (1751); «Предисловие о *пользе* книг церковных в российском языке» (1757). Не погрешим против истины, предположив, что во многом благодаря авторитету и популярности ломоносовских сочинений с их поэтикой функционализма, в XVIII веке складывается традиция именования книжной продукции. Слово «польза» входит в состав традиционно длинных для того времени заглавий в двух основных формулах: «что-то о *пользе* чего-то» и «что-то в *пользу* кого-то».

Первый вариант формулы соответствует по своему смыслу заглавиям ломоносовских сочинений. Например:

«Речь о достоинстве и *пользе* катихизиса, которую пред начатием после вакансии учения в Императорском Московском университете говорил онагож Университета катихизатор Московскаго Архангельскаго собора священник Петр Алексиев. Августа 17 дня 1759 года» (М., 1759);

«Слово о свойствах и *пользе* растений в публичном собрании Императорского Московского университета на высочайший день рождения... имп. Екатерины Алексеевны... говоренное онаго ж Университета медицины доктором Петром Вениаминовым. Апреля 23 дня 1767 года» (М., 1767);

«Слово о начале, связи и взаимном пособии математических наук и *пользе* оных. В публичном собрании Императорского Московскаго университета а высокотождественный день возшествия на всероссийский престол...

¹¹ См. наш комментарий к Стихам 134–140.

имп. Екатерины Алексеевны... говоренное онагож Университета математики экстраординарным профессором Василием Аршеневским. Июня 30 дня 1794 года» (М., 1794);

«Слово о пользе физики Тимофея Воскресенского» (Тобольск, 1794);

«О воздыхании голубицы, или *О пользе слез*, три книги». (СПб., 1795).

Эти наудачу отобранные заглавия российских изданий показательны: некоторые из них прямо копируют найденную Ломоносовым формулу заглавия, другие уточняют предмет сочинения при помощи «магического» для эпохи слова «польза», без которого как будто не могут состояться ни катехизис, ни математика.

Второй вариант формулы — «*в пользу*» — требует обязательного названия адресата издания, а именно того, кому будет полезна та или иная книга. Адресация издания осуществляется по различным принципам: профессиональному, профессиональному, возрастному, причем последний воплощен лишь в одной возрастной группе и с одним гендерным признаком — «юношество».

Этот корпус заглавий еще более многочисленный. Приведем лишь несколько примеров, выделив курсивом не только ключевое сочетание «*в пользу*», но и адресата этой «полезности»:

«Блаженного Августина епископа Иппонниского Богословския размышления о благодати божией и о воле человеческой, *в пользу христиан*, хотящих спастися и в разум истинны приити» (СПб., 1786);

«Краткая немецкая грамматика, из разных авторов *в пользу* российского *юношества*, собранная переводчиком Михайлом Агентовым» (СПб., 1779);

«Теоретическая и практическая геометрия, *в пользу* и употребление *не токмо юношества, но и тех, кои упражняются в землемери, фортификации и артиллерии*, из разных авторов собранная <...> Дмитрием Аничковым» (М., 1780);

«Добродетельная душа, или Нравоучительныя правила *в пользу* и научение *юношества* из древних и новейших мудрецов выбранныя и на российский язык переведенныя подпоручиком Алексеем Артемьевым» (СПб., 1777).

И еще одно любопытное с этой точки зрения заглавие: «*Пользы* европейских народов, изъясненныя с стороны торговли. Переводил сенатский секретарь Семен Башилов» (СПб., 1771). Российский автор перевел с французского «*les intérêts*» («*Les intérêts des nations de l'Europe, développés relativement au commerce*») словом «*пользы*», отдав ему предпочтение и проигнорировав синонимы «интересы» и «выгоды» (интересы европейских народов, развивающих торговые отношения). Думается, что выбор переводчика определен культурно-языковой тенденцией, особой позицией, которую занимала «польза».

**Не могу преминуть, чтобы не указать на одно из стихотворных сочинений любимого ученика Ломоносова Николая Никитича Поповского (1730–1760)¹², созданное в жанровой традиции западноевропейских научно-дидактических поэм¹³, но сориентированное на ближайший национальный образец — на ломоносовское послание. Не только заглавие сочинения Поповского — «Письмо о пользе наук и о воспитании во оных юношества, писанное <...> профессором Поповским к его превосходительству Ивану Ивановичу Шувалову при заведении Московского университета 1756 года» — непосредственно включает его в дискурс «полезных ученых посланий», но и адресат его «Письма» тот же, что и у Ломоносова, — меценат Шувалов, обращением к которому открывается послание: «Различны, меценат, к бессмертию дороги...» [Поэты XVIII века, I, 108]. Ученик вторит Учителю в основных идеях, заимствует ломоносовские формулы, творя собственную апологию наук и прославляя одного из главных учредителей «Минервина храма»:*

Един ты обще всех приял в опеку чад,
Представив мудрый твой совет Петровой дщери:
В Минервин храм отверз российским детям двери
И случай подал им свой разум просвещать,
Познанием наук себя обогащать.
Бессмертная твоя к отечеству заслуга
Не увядет, пока земного станет круга.
Не на тщеславии основана она,
На пользе истинной людей утверждена:
Россиянам она приятна и полезна,
Похвальна от чужих и варварам любезна.

[Поэты XVIII века, I, 114]

Стихи 5–6

*Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь;
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь,*

Чаще всего мусический (от «музы») топос является частью вступительных и заключительных разделов торжественных текстов. В «Письме о пользе Стекла» мусическая тематика актуализируется несколько раз, причем в раз-

¹² Об этом учительско-ученическом союзе см. подробнее: [Модзалевский, 117–161].

¹³ Ученик Ломоносова опирается в данном сочинении на идеи Джона Локка, книгу которого «О воспитании детей» Поповский перевел (М., 1759–1760).

ных аспектах. Во вступительных строках (1–14) послания занятия поэзией обозначены уже прочно вошедшей (еще с «хотинской одой» 1739 года) в поэтический словарь формулой — восхождением на Парнас.

Мусический топос здесь выступает в двух функциях: и как привычная и необходимая аллегория поэтических трудов, обозначающая также границу условности текста (поэт начинает «петь»), и как образ творческого пути Ломоносова, считавшего главным делом своей жизни химию (и естественные науки), а не поэзию. Эта метафора движения между двумя мирами — земным и «небесным» — иллюстрирует специфику взаимодействия научного и поэтического творчества Ломоносова. Открыть и познать законы естества на земле, а затем с парнасским вдохновением рассказать о найденном, открытом и понятом.

В финале «Письма» также появляются «Парнасские горы», с которых Ломоносов спускается на землю¹⁴.

Стих 7

Пою перед Тобой в восторге похвалу,

Ключевое и очень предсказуемое слово в этой строке — «восторг»; без него не могла бы состояться поэтическая апология Стекла и наук. Торжественная похвала предполагает бурное изъяснение эмоций, «восторг» — базовая категория нормативной поэтики классицизма. Законоположник поэтического творчества Нового времени *Никола Буало-Депрео (1636–1711)* в своей дидактической поэме «Поэтическое искусство» («*L'art poétique*», 1674) сформулировал основные максимы литературного творчества. Согласно созданному им литературному кодексу *восторг / жар / душевный пыл* являются основой поэтического творения.

Категории «лирического восторга» и «лирического беспорядка» обосновал в «Рассуждении об оде» (1693) Н. Буало. Говоря об одах Пиндара, он писал, что тот «иногда преднамеренно ломает последовательность речи и, чтобы лучше войти в <...> состояние рассудка, так сказать, выходит за пределы рассудочности, тщательно избегая методического порядка и правильных смысловых связей, которые лишили бы души лирическую <одическую> поэзию». Свое решение сочинить оду в духе Пиндара («Ода на взятие Намюра», которая предварялась «Рассуждением об оде») Буало мотивировал тем, что «нетрудно было бы дать почувствовать его красоты людям, несколько освоившимся с греческим языком; но так как ныне мало

¹⁴ См. наш комментарий к Стихам 413–416.

кто знает этот язык <...>, я решил, что не смогу лучше оправдать этого великого поэта, чем постаравшись сочинить на французском языке оду в его духе, то есть полную *волнений* и *восторгов*, <mouvements et transports>, когда кажется, что автора скорее увлекает демон поэзии, чем ведет разум» [*Спор древних и новых*, 265–266].

Сильное чувство приводит поэта в экстатическое состояние, в некое «священное опьянение» («*sainte ivresse*»), в котором он обретает новые пророческие свойства и начинает вещать:

Quelle docte et sainte ivresse.
Aujourd'hui me fait la loi!
Chaste nymphes da Permesse,
N'est-ce pas vous que je voi?
[*Boileau*, 205]

За исключением оксюморона «трезвое пьянство»¹⁵, эти строки, переведенные на русский язык, открывают «Оду торжественную о сдаче города Гданска» (1734) В. К. Тредиаковского:

Кое трезвое мне пианство
Слово дает к славной причине?
Чистое Парнасса убранство,
Музы! не вас ли вижу ныне?
[*Тредиаковский*, 129]

Восторгом от другой военной победы — взятия Хотина русскими войсками в 1739 году — рождена первая ломоносовская ода («Восторг внезапный ум пленил...»), о которой с не меньшим исследовательским восторгом писал Л. В. Пумпянский: «Чтобы понять происхождение гениального дела 1739 г., надо вообразить ту первую минуту, когда восторг перед Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой как западной страной. <...> Следовательно, одним восторгом можно исповедать и Европу и Россию! Это назовем «послепетровским» откровением («вторым» откровением) русского народа. Именно с ним, то есть, с восторженным исповеданием себя, связано пробуждение ритма в языковом сознании. Более могущественного открытия никогда не переживал русский народ...» [*Пумпянский*, 54].

Не только восторг должен «пленить ум» поэта, но и поэт должен объявить об этом «пленении». Такая поэтологическая установка превратила

¹⁵ См. подробнее: [*Живов. Язык и культура в России XVIII века*, 251–253].

душевный/духовный экстаз в обязательное условие творчества¹⁶, а также в поэтический топос, задающий пафос лирического песнопения, композицию и стилистику русской высокой поэзии [Гуковский. *Русская поэзия XVIII века*, 15]. В своих торжественных одах Ломоносов — иногда по долгу службы, иногда от чистого сердца — «пленяется» то военным успехом русских, то коронацией царственной персоны, то юбилеем той же коронации, то бракосочетанием членов правящей семьи, то восшествием на престол вступивших в тот самый брак. И, конечно, исторической фигурой, от которой Ломоносов приходит в наибольший восторг:

И полон ревности спешит в *восторге* дух
Петра Великого гласить вселенной в слух.
[Ломоносов, VIII, 699]

Но в послании 1752 года случилось небывалое! Ломоносов поет «в восторге» не то, что связано со славой России, и не тех, кто, возможно, с ней и не очень связан, но находится на славном троне, восторг необходим ему для воспевания предмета материального — Стекла.

**Не могу преминуть, чтобы не привести серию ломоносовских одических «восторгов»:*

И мой отрады полный ум,
Восхитив тем, в *восторг* приводит...
(Ода 1742 г.) [Ломоносов, VIII, 60]

Что толь приятный сон смущает,
Восторг пресладкий гонит прочь...
(Ода 1742 г.) [Ломоносов, VIII, 101]

Мой дух течет к пределам света,
Охотой храбрых дел пленен,
В *восторге* зрит грядущи лета
И грозный древних вид времен...
(Ода 1743 г.) [Ломоносов, VIII, 107]

¹⁶ Державин в «Рассуждении о лирической поэзии или об оде» представляет творческий процесс в религиозно-мифологическом ключе: «Вдохновение есть не что иное, как живое ощущение, дар неба, луч Божества. Поэт в полном упоении чувств своих, разгораясь свышним оным пламенем или, простее сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит его сердце» [Державин, VII, 532].

Восторг все чувства восхищает!
Какая сладость льется в кровь?
В приятном жаре сердце тает!
Не тут ли царствует любовь?
(Ода 1745 г.) [*Ломоносов*, VIII, 130]

Но истинно Петрова дщерь
К наукам матерски снисходит,
Щедротю в *восторг* приводит...
(Ода 1750 г.) [*Ломоносов*, VIII, 395]

Сердцами пойдут [музы. — Т. А.] и устами
В *восторге* сладком возгласят,
Коль славными она делами
Петров распространила град...
(Ода 1752 г.) [*Ломоносов*, VIII, 501]

Воздвиг Петрополь к небу руки,
Веселыми устами рек <...>
Безмерна радость прерывала
Его усерднейшую речь
И нежны слёзы испускала,
В *восторге* принуждая течь.
<...>
В *восторге* ныне мы безмерном,
Что в сердце ревностном и верном
И в жилах обновилась кровь.
Велика радость нам родилась!
(Ода 1754 г.) [*Ломоносов*, VIII, 557–558, 561]

В надежде таковых чудес,
Россия оком умиленным
И сердцем, в счастье услажденным,
Какой в *восторге* кажет вид!
(Ода 1763 г.) [*Ломоносов*, VIII, 798]

Представление о восторге (волнении) как доминантной эмоции сочинителя оды и о лирическом беспорядке как композиционном принципе было полноценно адаптировано русской лирикой от Тредиаковского («Рассуждение об оде вообще», 1734) до Державина («Рассуждение о лирической поэзии или об оде», 1811).

Стих 10

Не ломкость лживаго я щастья представляю.

Предмету поэтического восторга — Стеклу — Ломоносов противопоставляет «лживое счастье», точнее, «ломкость» счастья. Появление пары *Стекло — Счастье* кажется на первый взгляд странным: предмет мира материального включен в сравнение с понятием мира идеального. В этом риторическом отрицании вопросы вызывает все. Какова логика сравнения стекла со счастьем (понятно, когда устанавливается иерархия стекла с минералами)? Почему счастье «лживое» и бывает ли «правдивое»? В чем заключается его «ломкость»?

Без обращения к предшествующим традициям — античной и западноевропейской — ответить на эти вопросы невозможно. Античное представление о богине счастья — Фортуне — включает целый комплекс мотивов: могущество; власть над всем миром; способность изменять жизнь людей любого класса, сословия, ранга в лучшую или худшую сторону; зависимость мира людей от воли или капризов богини; несовпадение людских желаний с действиями Фортуны... Но главное — изменчивость и неожиданность милости или гнева этой богини. Однако — и это важно! — земное счастье, как и его противоположность, воспринимаются как данность, как закон мира, достойный уважения. В качестве иллюстраций к этому тезису приведем два значимых эвдемонистических¹⁷ текста античности — поэтические размышления на тему счастья «самого греческого из греческих» и «самого римского из римских» поэтов.

О всеисильности фортуны и ее переменчивом характере «поет» *Линдар* (518–438 гг. до н.э.) в 12-й олимпийской песне, адресованной Эрготелу Гимерскому, родом из Кносса, на победу в дальнем беге (470 г. до н.э.):

Хранящая удача!
Тобою в море
Правятся быстрые корабли,
Тобою на суше
Вершатся скорые войны и людные советы.
Вскатываются и скатываются то ввысь, то вниз
Чаянья людские <...>
Ум к предстоящему слеп.

¹⁷ Эвдемонизм (от греч. eudaimonia — блаженство, счастье) — принцип этики, заключающийся в стремлении человека к счастью.

Многое нежданное
Выпадает людям наперекор,
Иным же встречные бури
Глубоким благом мгновенно оборачивали скорбь.

[Пиндар, 50]

В этом утешении героя—олимпийца, одного из дорийских эмигрантов, в поисках счастья прибывших в Сицилию в конце VI — начале V в., заключено несколько важных мотивов, унаследованных следующими поколениями поэтов.

Пиндар устанавливает причинно-следственную связь между изгнанием героя с родины и его победами в Олимпийских, Пифийских и Немейских играх, проговаривая идею о превратности, изменчивости фортуны. М. Л. Гаспаров объясняет восторг Пиндара от олимпийцев—победителей особенностью греческого сознания: спортивные состязания не столько выявляли самого сильного и умелого, сколько проясняли вопросы — на чьей стороне боги и кто является любимцем богов? [Гаспаров, 29–48]. Людское счастье (или несчастье) определяется мгновенной волею богов. Могущество фортуны распространено на мир стихий, имеющий связь и с миром людей.

Во многом вторит пиндарическим откровениям *Квинт Гораций Флакк* (65–8 гг. до н.э.), обращаясь в одной из од (кн. I, ода 35,) к богине Фортуне с просьбой сохранить жизнь Цезаря Августа, собиравшегося в поход на Британию. Поэтическую мольбу Горация о жизни и успехе Цезаря предвещает размышление о власти и непостоянстве Фортуны:

Богиня! Ты, что царствуешь в Антии!
Ты властна смертных с низшей ступени ввысь
 Вознесть, и гордые триумфы
В плач обратить похоронный можешь.

К тебе взывает, слезной мольбой томя,
Крестьянин бедный; вод госпожу, тебя
 Зовет и тот, кто кораблями
Бурное море дразнить дерзает.

И дак свирепый, скифы, бродя в степях,
Тебя страшатся. Грады, народы все...

[Гораций, 66]

Гораций также обозначает пространственную («стихийный» топос *суша/море*), социальную (*крестьяне/тираны*) и наднациональную (стра-

шатся все народы) всеильность Фортуны. Основными значениями, составляющими концепт *Счастья/Удачи*, стали переменчивость и всемогущество, неожиданность действий богини. В греко-римской картине мира *счастье/удача* — это «вещь» достижимая, обретаемая, хотя и переменчивая, и зависящая от воли богов.

В средние века христианская церковная догматика «изгоняет» счастье с земли: человеку остаются чувство вины за постоянное грехожитие, эсхатологические страхи и единственно возможный путь — страдание как необходимое условие райского блаженства после смерти [Гуревич, 356–368, 390–401].

Только в Новое время европейские просветители «вернут» счастье с небес на землю. Поэты и философы объявят и будут защищать один из ключевых своих тезисов: «Человек рожден для счастья!» (причем для земного счастья). Просветители ищут *истинное* счастье, размышляют над *личным* и *общественным* счастьем, разрабатывают модель *всеобщего* счастья. Утопические устремления просветителей выработать для всего идеальный образец, пример, на который будут ориентироваться все люди, приводит к тому, что они ищут и идеал счастья. При всем различии взглядов просветителей на мир существуют и принципиальные идеи, исповедуемые всеми. Понятие «счастья» связывается просветителями, во-первых, с идеей свободы от религиозных предрассудков, прежде всего, от неистребимых чувств греха и вины, сковывающих человека, во-вторых, с представлением о том, что человек сам творец своего счастья. В гуманистической парадигме просветителей счастье занимает одно из центральных мест. Они пытаются определить, что есть счастье и как его достигнуть?

Верный выбор человеку для достижения личного счастья помогает сделать Разум, который возведен просветителями в главный смысл жизни, например, в «Опыте о человеческом разуме» («*Essay Concerning Human Understanding*», 1690) Джона Локка (1632–1704). Счастье общественное обеспечивает просвещенный монарх с помощью издания правильных, справедливых законов, основанных на началах естественного равенства и естественных прав всех граждан. Издавая такие законы, он способствует счастью своего народа, или говоря словами *Мари-Франсуа Аруэ Вольтера* (1694–1778): «Самое огромное счастье для людей — когда государь философ». Просветителей можно назвать «искателями счастья на земле».

Герой философской поэмы «Счастье» (1741–1751) французского просветителя *Клода Адриана Гельвеция* (1715–1771) — юноша, жаждущий познать сущность человеческого счастья. Его провожатым на этом пути становится Мудрость. В чудесном саду — любовь и наслаждения, но и это не истинное счастье. Автор не отрицает чувственные наслаждения, но и не

отождествляет их с счастьем: они — его часть. Честолюбцы и карьеристы также не составляют мир счастья. Богатство — тоже не залог счастья: можно приобрести богатство и не уметь им распорядиться. Гельвеций призывает приобщиться к философской мудрости. Является ли познание истины условием достижения счастья? Гельвеций отвергает стоический принцип отказа от страстей и желаний, усматривая в презрении радостей и удовольствий нечто фальшивое и обманчивое. В третьей песне поэмы Гельвеций и его герой находят ответ на вопрос: счастье — многогранное знание, счастливый человек — просвещенный человек. Этим завершалась поэма. Но позднее, в зрелый период своего творчества, французский мыслитель, будучи уже автором книг «Об уме» (1758) и «О человеке» (1765), пересмотрел свое понимание счастья. Теперь он уверен, что разрешение проблемы счастья возможно не в индивидуальном, а в социальном плане. В заключительной, четвертой, песне поэмы Гельвеций утверждает: люди обретут счастье лишь в обществе, где будут разумно и справедливо отрегулированы личные и общественные интересы.

Другой французский просветитель *Дени Дидро* (1713–1784) утверждал, что счастье — это «фундаментальная основа гражданского катехизиса». Чуть ли не все деятели эпохи Просвещения формулируют свои представления об индивидуальном и коллективном счастье. Просветители представляли счастье по-разному, связывая его с развитием цивилизации и техническим прогрессом (Вольтер) или с идиллическим покоем жизни на лоне природы (Руссо), но сходились в главном: человек может и должен быть счастлив на земле.

Тема счастья звучит в первом же стихотворном переводе Ломоносова — «Ода, которую сочинил господин Франциск де Салиньяк де ля Мота Фенелон, архиепископ Дюк Камбрейский, Священная Римская Империя принц» (1738). Оду *Фенелона* (1651–1715), написанную в 1681 году, но опубликованную только после его смерти, вероятно, следует считать одним из тех текстов европейской литературы, с которыми Ломоносов познакомился, будучи за границей, и которые дали ему представление об актуальных темах современной поэзии и философии. Тема счастья оказалась одной из них. Перевод этой оды должен был свидетельствовать об успехах Ломоносова в изучении языков. Французский язык Ломоносов начал учить в 1737 году. Выбор этой оды был не случаен: она пользовалась популярностью не только во Франции, но и за ее пределами, считалась образцовым произведением французской поэзии; воплощала восходящий к античности идеал безмятежной жизни в тесном общении с природой.

В переводе этой оды Ломоносов впервые проговаривает идею презрения «спесивого» счастья в мире людей (богатство, карьера, власть, завоева-

ния) и предпочтения ему жизни на лоне природы, вдали от суетных человеческих страстей. Здесь же появится на свет русский вариант поэтической формулы о «лживом счастье». Вслед за своим французским предшественником истинным «щастьем»¹⁸ Ломоносов назовет идиллический покой сельской жизни и откажется от «лживой» фортуны — удачи в обществе:

Был из Еллинов мудрейший
Лживыя фортуны смех <...>

Здесь, при Музах, во *щастливой*
Слатко тишине живу,
От войны всегда бурливой
Молча весел недрожу.
Сердце радостно при лире,
Нежелая чести в мире,
Щастье лиш свое поет.
Прочь, *фортуна*, прочь, спесива,
И твоя вся милость *лжива*,
Нивочто вменяю свет.

[*Ломоносов*, VIII, 12–13]

«Лживая фортуна» (у Фенелона — *trompeuse fortune*) обманывает людей, поэтому Фенелон не завидует даже самому счастливому, удачливому, смелому и мудрому из смертных — Одиссею («*Des Grecs je vois le plus sage*»), «из Еллинов мудрейший»: «*Je goûte, loin des alarmes, / Des Muses l'heureux loisir...*»

Обретение личного тихого счастья путем эскейпизма (отказа от карьеры и жизни в обществе, предпочтения сельского уединения) — одно из направлений развития темы. Тема счастья разрабатывается французскими просветителями и в социально-политическом ракурсе, обретая обличительный пафос, который направлен в первую очередь против власть имущих. Это касается оды «На счастье» Ж. Б. Руссо. Предъявляя требование справедливости и к Провидению, просветители обличают и укоряют счастье, которое наделяет людей недостойных властью (особенно короной), богатством и положением.

Именно таким обличительным пафосом пронизана ода «На счастье» («*A la Fortune*») французского поэта *Жана Батиста Руссо* (1670 или 1671–1741), первые литературные опыты которого были одобрены самим зако-

¹⁸ Словарь Академии Российской фиксирует два основных значения слова «счастье»: «1) Удача, щастливый случай, щастливое произшествие. <...> 2) Благополучие, благосостояние, благоденствие. <...>» [САР, IV, стб. 940].

нодателем французского классицизма Н. Буало. Она была направлена против завоевателей и тиранов, кровью подданных добывающих власть, богатство и славу. Но кроме социально-политического контекста, составляющего главный смысл произведения, в последнем присутствует и философская идея превратности счастья, его непостоянства.

В 1759 году Ломоносов и Сумароков одновременно переводят оду «На счастье» Ж. Б. Руссо: Ломоносов — 4-стопным ямбом, Сумароков — 4-стопным хореем. В этом стихотворном состязании (как и в более раннем поэтическом споре 1743 года, в котором третьим участником был В. К. Тредиаковский) победу одержал Ломоносов. Его звучные ямбические строфы наиболее соответствовали обличительному пафосу французского оригинала, нежели хорейческие, иногда невнятные строки Сумарокова.

Первая строфа оды Руссо в ломоносовском переводе звучит следующим образом:

Доколе, *щастье*, ты венцами
Злодеев будешь украшать?
Доколе *ложными лучами*
Наш разум хочешь *ослеплять*?
Доколе, истукан *прелестной*,
Мы станем жертвой нам безчестной
Твой тщетной почитать алтарь?
Доколе будет строить храмы,
Твои чтить замыслы упрямы,
Прельщенная словесна тварь?

[Ломоносов, VIII, 661]

Fortune, dont la main couronne
Les forfaits les plus inouis,
Du *faux éclat* qui t'environne
Serons-nous toujours éblouis?
Jusques à quand, *trompeuse* idole,
D'un culte honteux et frivole
Honorérons-nous tes autels?
Verra-t-on toujours tes caprices
Consacrés par les sacrifices
Et par l'hommage des mortels?

[Rousseau, 94]

Образ судьбы, счастливой участи включает в оду Руссо мотивы «ложного блеска» («*faux éclat*»), восхищающего и ослепляющего («*éblouis*») смертных. Счастье названо «обманчивым идолом» («*trompeuse idole*»), которому приносят жертвы и почитают его. Ему вторит и русский просветитель.

Если в переводе фонтенелевой оды Ломоносов употребляет кальку *фортуна*, то в дальнейшем отказывается от нее, заменяя русским «счастьем». Весь синонимический ряд с темой «высшей предопределенности» человеческого пути, который представлен во французских одах словами *fortune*, *sort*, *heurese*, в ломоносовском торжественном дискурсе балансирует между двумя словами с положительной и отрицательной коннотацией — «счастьем» и «роком». «Рок» чаще всего связан со смертью высших государственных персон, «счастье» («блаженство») подданных — это заслуга правящей особы, за что и возносит ей благодарность поэт.

Мотивы преодоления непостоянства счастья и желания сохранить счастье «недвижным» становятся общими одическими местами:

Он ради твоего блаженства,
Даров достигнет совершенства,
И *счастье* бег остановит.
(Ода 1742 года) [Ломоносов, VIII, 62]

И *счастье* наше обновилось
На трон возшла Петрова Дщерь. <...>

Хотя от смертных сокровенно
Грядущих бытие вещей;
Однако сердце, просвещенно
Величеством богини сей,
На будущие дни взирает
И больше *счастье* предвещает.
Конец увидим оных дел:
Что ради нашего *блаженства*
На верх поставить *совершенства*
Всходящий в небо Петр велел.
(Ода 1746 года) [Ломоносов, VIII, 139, 145]

Как ясно солнце воссияло
Свой блеск впервые на тебя,
Уж *счастье* руку простирало,
Твои приятности любя,
Венец держало над главою
И возвышало пред тобою
Трофеи отческих побед,
Преславных чрез концы земные.
Коль *счастлива* была Россия,
Когда воззрела ты на свет!
(Ода 1746 года) [Ломоносов, VIII, 152–153]

Мне полно тех побед, сказала,
Для коих крови льется ток.
Я россов *счастьем* услаждаюсь,
Я их спокойствием не меняюсь
На целый запад и восток.
(Ода 1747 года) [Ломоносов, VIII, 198]

Нужно отдать должное лингвокультурному проектированию Ломоносова, дополняющего один член антиномии «лживое» (счастье) другой его половиной «правдивое»: «А ты, возлюбленная лира, / *Правдивым счастьем* веселись» (ода 1750–1751 г.) [*Ломоносов*, VIII, 402]. Правдивость счастья заключена в том, что Россией управляет Елизавета Петровна. Таким образом, применительно к «своему» миру в хвалебном одическом дискурсе наблюдаем своеобразную перелицовку мотивов обличительной оды Руссо: и счастье у россиян «правдивое», и венцами оно украшает того, кого следует.

Этот образ манящего своим блеском, ослепляющего своими лучами и обманывающего в конце концов Счастья Ломоносов выбирает той самой смысловой антитезой к своему полезному, вечному и дающему истинное счастье людям Стекла, которое также блистает «приманчивым лучем». Интересно, что Ломоносов использует мотив лживости, а не слепоты фортуны.

**Не могу пременить, чтобы не* привести строки из письма Ломоносова к И. И. Шувалову от 17 апреля 1760 года, в котором личностная самоидентификация поэта строится на отрицании «слепого счастья» в судьбе: «По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею порою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не *слепым счастьем*, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения» [*Ломоносов*, X, 539].

Итак, предпочтение Стекла «ломкости лживого счастья» обозначает идею превосходства мира материального над миром идеальным, прагматики над абстракцией, постоянства над переменчивостью, истины над ложью — а рожден этот образ в скрещенье античной и европейской эвдемонистических концепций. В данной строке Ломоносов реализует одну из возможных черт образа — счастье «лживое». Но слово «ломкость», являющееся контекстуальным синонимом «непостоянства, изменчивости» и укладываемое в амальгаму антично-европейского эвдемонизма, все же более принадлежит научной лексике и обозначает свойство физическое. И в этом оригинальность ломоносовского образа счастья.

***Не могу пременить, чтобы не* наметить перспективу «поисков счастья» в послеломоносовское время, которые продолжаются и в Европе, и в России.

Еще один знаменитый Руссо, младший современник Жана Батиста, *Жан Жак Руссо (1712–1778)* пишет трактат о счастье — «*Du bonheur*». Примечательно, что в русском переводе заглавие этого сочинения звучит не «О сча-

стье», а «О блаженстве из творений Жана Жака Руссо. С французского перевел Вольного Российскаго собрания при Имп. Московском университете член И. Л.» (М., Унив. тип., у Н. Новикова, 1781).

Русские поэты и писатели, включившиеся в общеевропейский «культурный проект» по обретению человеческим родом земного счастья, также разрабатывают собственные эвдемонистические концепции. В целом ряде поэтических сочинений — «На Счастье», «Истинное счастье» Г. Р. Державина; «На Счастье» В. В. Капниста; «К Счастью» И. А. Крылова; «В счастии и несчастьи быть осторожну...» И. С. Баркова; «Фортуна» А. А. Ржевского; «Фортуна», «Счастье и Фортуна» Н. А. Львова; «„Ода на счастье“ Ж.-Б. Руссо» А. Х. Востокова; «Счастье» В. В. Попугаева; «Мое счастье (К другу)» А. Г. Волкова; «Счастье» А. П. Бенитцкого и др. — складывается культурная парадигма «русского счастья».

На ее формирование, кроме античного и европейского опыта, особое влияние оказал Г. Р. Державин. В поэтическом размышлении «На Счастье» (1789), написанном «фирменным» «забавным слогом» и породившем волну подражаний, Счастье предстает «вожделенным от всех», «великомощным», «царем царей». Поэт приписывает ему небывалую разрушительную («в пепел грады претворишь») и созидательную силу («Раба творишь владыкой миру»). Державин пишет оду «на счастье», находясь в Москве под судом, отрешенный от Тамбовского губернаторства. В издании 1798 года в заглавии уточнялось: «Писано на масленице». В рукописи же 1790-х годов было еще уточнение, впоследствии зачеркнутое: «Когда и сам автор был под хмельком» [*Державин*, I, 177]. Заметим, что в размышлениях о счастье Державина, Капниста, Крылова, несмотря на появление интимно-личных переживаний и шутивного дискурса, социально-политические мотивы остаются. Счастью — персонифицированной фигуре, счастьем-богине или счастьем как абстрактному понятию — предъявляются обвинения в несправедливости его выбора любимцев.

И здесь можно предложить следующую гипотезу. Во-первых, обычно тема счастья актуализируется не в мгновенья счастья, а в моменты несчастья, либо в моменты переживания несправедливости мира. Во-вторых, счастье и сетование на него замещают в таком дискурсе Создателя. Все успехи и неудачи — от Бога. Но как предъявить претензию к Всемогущему и всуе к нему обратиться? Как писал английский просветитель А. Поуп, «попробуй Провиденье упрекнуть». Вот и ругают поэты Высшую Силу, именуя ее Счастьем, и просят эту силу о благосклонности.

Русская поэзия переводит размышления о счастье в христианское русло, переименовая «счастье» в «блаженство». В этом смысле интересно державинское переложение первого Давидова псалма, в котором, в основ-

ном следуя библейскому тексту, поэт проповедует блаженство праведника: «Блажен тот муж, кто ни в совет, / Ни в сонм губителей не сядет, / Ни грешников на путь не станет, / Не пойдет нечестивым вслед», — и грозит страшным судом Всевышнего нарушителям господних заповедей: «Но беззаконники не так: / Они с лица земли стряхнутся, / Развеются и разнесутся, / Как ветром возметенный прах» [Державин, I, 189]. И пафос, и основная идея библейского текста сохранены в двадцати восьми строках державинского переложения. Любопытно заглавие. Обычно оно включало номер псалма и чаще всего содержало указание на парафрастичность. Державину было свойственно озаглавливать свои псалмодические опыты таким образом: «Праведный судия. Из Псалма 100». Переложение первого псалма Державин называет просто «Истинное счастье».

Безусловно, этот смелый новаторский ход Державина интересен двумя парадоксально сочетающимися интенциями. С одной стороны, можно говорить об эмансипации поэзии от строгости религиозного надзора: поэтическое переложение библейского текста теряет в своем названии прямую отсылку к Священному Писанию, обретает новое светское «имя», вписывающее его в культуру секуляризованную. С другой стороны, заглавия псалмодических стихотворений Державина образуют некую идеальную парадигму жизни, которая по своему содержанию отсылает читателя опять же к Библии, к миру религиозному и к христианской этике: Праведный Судия — это Бог, истинное счастье — это блаженство праведника.

Приходится признать, что проект русских поэтов с их просветительскими установками на «обоснование» счастья на земле не удался. В земном варианте Счастье у них представлено в шутивно-забавном дискурсе, и тогда концепция счастья во многом соответствует античному представлению о его переменчивости. Счастье же «истинное», настоящее вновь «отпущено» на небеса.

Стихи 14–36

Эти строки — любопытный и яркий пример просветительского мифотворчества, *рационалистический миф о рождении Стекла*. Мифопоэтическое качество данного фрагмента обычно исключается из рассмотрения поэтики «Письма», что вполне объяснимо: он, во-первых, заключает в себе чуждые поэтике классицизма принципы построения и, во-вторых, отражает противоречия в художественном мышлении Ломоносова.

Одно из этих противоречий, например, выражается в сочетании негативного отношения Ломоносова-просветителя к античной мифологии как к «ливным басням» и «нескладным вракам» с сознательным построением новой мифологии — «научной» и просветительской. В дидактической по-

эме, предназначенной для пропаганды научного знания, поэт-ученый создает просветительский «миф творения» природного стекла — Первостекла, как сказали бы современные исследователи мифологии. Основой этого мифа являются научные представления Ломоносова о природных процессах (в частности, об извержении вулканов и химическом составе магмы), которые облачаются в форму архаичного мифа о сотворении первых природных объектов. Поэт не просто одушевляет природные стихии, он конструирует *особую мифологическую реальность* со свойственным ей набором персонажей и хронотопом (пространственно-временными характеристиками).

Востребованным в эпоху Просвещения оказался сам потенциал архаичного мифа как древнейшего способа интерпретации мира, содержащего «адаптационный механизм для объяснения окружающей действительности» (Е. М. Мелетинский), что позволило Ломоносову транслировать новые научные идеи, обращенные к современному ему обществу, в мифопоэтической форме.

Поэтическая форма мифа отвечала одной из основных задач «Письма» — популяризации научного знания, введения его в культурный обиход в наивно-художественном виде, доступном для обыденного сознания. Научное знание, помещенное в «прокрустово ложе» мифологической формы, изменяется; в свою очередь рождающийся «новый» миф эпохи Просвещения также обретает свои особенности.

Для определения специфики просветительского мифа о Первостекле необходимо обозначить важнейшие черты архаического мифа творения. Согласно определению одного из самых авторитетных исследователей поэтики мифа Е. М. Мелетинского особо значимыми для данного типа мифов являются следующие характеристики:

- 1) это мифы «о порождении всех тех объектов, из которых состоит мир»;
- 2) в мифах творения описывается несколько способов «порождения» предметов путем их словесного названия, физического порождения, извлечения из себя богами, добывания культурным героем, создания демиургом, спонтанного или магического превращения одного предмета в другие, перемещения объектов из одного места в другое;

- 3) акт мифического «творения» предполагает наличие по крайней мере трех «ролей»: творимого объекта, источника, или материала, и творящего субъекта (в ряде случаев присутствует четвертая «роль» — антагониста, которого необходимо победить/подчинить);

- 4) события происходят в мифологическом времени (начальная эпоха, «пра-время», время творения первых вещей);

- 5) миф обладает особой функциональной направленностью (моделирование мира, гармонизация сил природы и социума, объяснение и санкционирование социального и космического порядка и др.) [Мелетинский, 163-225].

Какие же из этих атрибутивных признаков архаичного мифа творения и почему оказываются востребованными в художественном мире одного из самых рациональных писателей русской литературы?

Ломоносовский «миф творения Стекла» — своеобразный пролог к рассказу о его «полезностях» в современном поэту мире — повествует о появлении «первого» Стекла в результате соединения усилий Огня и Натуры.

Стих 14

Стекло им рождено; огонь его родитель.

Героями ломоносовского мифа оказываются персонифицированные природные стихии и явления, главным из которых становится Огонь. Выдвижение Огня на роль центральной фигуры мифа (творящего субъекта) фиксируется в заключительной строке вступления «Письма», которая одновременно и завершает обращение поэта к адресату послания, и содержит завязку сюжета произведения; в ней происходит изменение «качества» «героев» произведения и задается иной, *мифопоэтический*, уровень повествования. Стекло олицетворяется и превращается в «героя» произведения, обретая «биографию» — историю своего рождения. Олицетворение «героев» путем их включения в систему человеческих родственных взаимоотношений и становится отправной точкой мифотворчества поэта. Наделение Огня ролью «родителя» отграничивает его от прирученного (или полученного) людьми огня как «самого наглядного и универсального признака выделения человека из животного царства» [Токарев, II, 239].

Стихи 15–16

*С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя,*

Причина рождения Стекла — появившееся у Огня желание «произвесть дитя». Именно Огню принадлежит инициатива творения, и, следовательно, рационально объяснимые причины природного процесса (извержения вулкана), хорошо известные Ломоносову-ученому¹⁹, подменяются волеизъявлением героя. Это нарушает научную логику причинно-следственных связей, но вполне соответствует случайности, спонтанности и немотивированности событий в мифе.

¹⁹ См. труды Ломоносова по минералогии и горному делу: «Слово о рождении металлов от трясения земли» и «Первые основания Metallургии».

Стихи 17–21

*Во мрачной глубине, под тягостью земною,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг, и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил.
Напрягся мышцами и рамена подвинул,*

Огонь, заключенный в недрах земли, типологически и функционально схож с древнегреческими гигантами Тифоном и Энцеладом, которые, проиграв битву олимпийским богам, были заключены в кратеры вулканов. Согласно античным мифам Зевс навалил на Тифона огромную гору Этну в Сицилии, откуда Тифон изрыгает пламя. У Тифона от головы до бедер было огромное человеческое тело, и Ломоносов в облике героя оставляет «детали» именно этой части тела («мышцы», «рамена»).

Стих 22

И тяготу земли превыше облак вскинул.

В ломоносовском мифе Огонь (причем «подземельный») выступает в своем первозданном виде как первоэлемент Вселенной, как мужское начало, дающее жизнь другому природному объекту. В рассказе об Огне отсутствует «вещественное» начало, «природные» признаки: пламя, искры, горение. Ломоносов создает антропоморфный мужской образ («*мышцы*», «*рамена*»), сила которого сдерживается «тяготой земли». Описывая «жилице» своего героя: внутренности земли, подземное пространство, — художник-просветитель постоянно балансирует между научным знанием и мифопоэтической формой. Так, «глубина» — вполне научный термин; «мрачная» — не столько цветовой, сколько оценочный эпитет (в научных трудах Ломоносов чаще всего использует точные цветовые обозначения). «Тягота земли» становится константной характеристикой земли, а возможность избавления от нее рассматривается поэтом как трудновыполнимая задача²⁰.

Божественная сущность героя заключается в выведении его из законов времени, в придании ему атрибутов «вечной» жизни и в борьбе со своим антагонистом — Водой. На это указывает не только темпоральный опреде-

²⁰ Ср., например, подобный мотив в «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова: «И тяготу земли потряхнуть...» [Ломоносов, VIII, 389].

литель («вечно»)²¹, но и грамматическое время и вид глаголов, подчеркивающие либо протяженность и незавершенность процесса, а также обычность его («живет», «борется»), либо результат («затворил», «напрягся»). Сам момент творения обозначен даже остановкой во времени. Отметим, что две, мифологические в своем генезисе, антиномии *огонь/вода*, *верх/низ* во многом организуют сюжетное движение «мифа». Справившись с трудной задачей («И тяготу земли превыше облак вскинул»), Огонь обрел свободу — в извержении вулкана.

Огонь сохраняет свою ведущую активную роль, несмотря на то что появляется еще один участник творения — «Натура» (природа), названная «матерью» Стекла и выступающая, следовательно, как женское начало в процессе творения. Если в одах Ломоносова с «натурой», тоже одушевленной, связана идея рождения/творения: натура «рождает», устанавливает свои законы, награждает красотой, дарит свои богатства людям и т. п.²², то в «Письме» она пассивна и отходит на второй план.

Хотя в ломоносовском мифе творения присутствуют и мужское, и женское начала, эротических мотивов в нем почти нет. Желание «героя» — Огня — связано не с плотским удовольствием или возвышенным любовным чувством, а с важнейшей научной установкой — «пользой». В объясняемом нами отрывке («мифе творения») этой установке соответствует эпитет «достойное». Данным качеством наделяются все три персонажа мифа: «Достойное себя и она дитя». Обозначенное свойство как бы уравнивает Натуру и Огонь в достоинствах, о которых, правда, ничего не сказано. Однако дальнейшее повествование посвящено именно *достоинствам* результата творения — Стекла, примерам его применения в разных областях жизнедеятельности человека. «Достойное» становится синонимом «полезного», причем автор даже не претендует на перечисление всех достоинств (полезных употреблений) материала, указывая на их великое множество: «Далече до конца Стеклу достойных хвал, / На кои целой год едва бы мне достал».

Таким образом, в «Письме» происходит «социализация природных сил» (Е. М. Мелетинский), все существование которых отныне определяется служением человечеству.

²¹ См. наш комментарий к Стихам 17–21.

²² Ср. роль «натуры» в одах Ломоносова: «Натура, выше стань законов, / Роди, что выше сил твоих» [Ломоносов, VIII, 37]; «Натуру нам возобновляет» [Ломоносов, VIII, 96]; «Натура ставит общий пир» [Ломоносов, VIII, 102]; «В другой натура истощила / Богатство всех красот своих» [Ломоносов, VIII, 128]; «Творит натура чуда» [Ломоносов, VIII, 204]; «Натуры нарушив предел» [Ломоносов, VIII, 502]; «Была, как ты, натура щедр» [Ломоносов, VIII, 755]; «Но где ж, натура, твой закон?» [Ломоносов, VIII, 121].

Стихи 23–24

*Внезапно черный дым навел густую тень,
И в ночь ужасную переменился день.*

Многие из этих деталей вполне реалистичны: черный дым, огненная река, густая тень, наступление ночи — и могут быть расценены как конкретное описание извержения вулкана, достаточно близкое к подобным описаниям в научных трудах Ломоносова²³.

Стихи 25–26

*Не баснотворнаго здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса;*

Ломоносов противопоставляет свое повествование о последствиях вулканических извержений древнегреческому мифу о зачатии Геркулеса: Зевс, желая продлить любовное свидание с Алкменой, соединил две ночи в одну — в результате родился Геркулес.

Истинно «достойному» творению Натуры и Огня — Стеклу — Ломоносов противопоставляет «баснотворное» (ложное) творение из греческой мифологии, отказывая античному герою в какой бы то ни было «ценности», «полезности» для людей. Геркулес и Стекло, оказавшиеся на одном уровне мифопоэтической условности, становятся объектами сопоставления, причем, безусловно, сравнение делается в пользу персонажа ломоносовского мифа. Однако это обращение к античному сюжету не только свидетельствует о сознательной установке поэта на демифологизацию героев греческих мифов, но и позволяет автору продемонстрировать любопытный прецедент «двух ночей». Чтобы показать саму возможность такого природного явления (две ночи, слитые воедино), поэт обращается не к античным и средневековым свидетельствам об извержениях вулканов (их он цитирует в научных работах), но к известному древнегреческому мифу с аналогичной ситуацией.

²³ Ср., например: «И в то же время бывают подземные стенания, урчания, иногда человеческому крику и окружающему треску подобные звучания. Протекают из недра земли источники и новые воды, рекам подобные; дым, пепел, пламень, совокупно следуя, умножают ужас смертных <...>. Во все времена действовала натура...» [Ломоносов, V, 298–300].

**Не могу преминуть, чтобы не* привести эротический вариант этих строк из оды *Ивана Семеновича Баркова (1732–1768)*, состоявшего при Ломоносове «копистом»²⁴:

Юпитер грома оставляет,
Снисходит с неба для нея,
Величество пренебрегает
Приемлет нискость на себя;
Натуры чин преобращает,
В одну две ночи он вмещает,
В Алкменину влюбившись щель.
Из бога став Амфитрионом,
Пред ней приходит в виде новом,
Попасть желая в нижну цель.

[*Барков. Девичья игрушка, 42*]

Обыгрывая высокий ломоносовский стиль, поэт исключает всякий намек на полезность, обосновывая любовное приключение верховного языческого бога лишь его желанием испытать чувственное наслаждение. Если у Ломоносова одна польза, «баснотворная», в лице Геркулеса (дитяти «длинной» ночи любви Громовержца и Алкмены) противопоставлена другой пользе, истинной, воплощенной в природном Стекле (дитяти Натуры и Огня), то у Баркова эпизод вынесен за рамки этой парадигмы всепронизывающего функционализма и сосредоточен на развертывании эротического потенциала сюжета. Интересно, однако, что почти вся строфа может быть прочитана как «высокая» поэзия.

Кстати, стихотворное посвящение *Григорию Григорьевичу Орлову (1734–1783)*, которому «враг парнасских муз» Барков преподнес свои переводы сатир Квинта Горация Флакка (СПб., 1763), тоже полемично по отношению и к ломоносовскому посланию «о пользе стекла», и к общей тенденции века повсюду искать пользу и предварять любого рода сочинения словами о пользе восплаемого предмета:

Не пользу сáтир я хвалами возношу,
Но милостиво труд принять в покров прошу,
Когда нет ничего на свете толь худова,
В чем к пользе не было б служащего ни слова.
Находит нужное во всячине пчела,
Чтоб для себя и всех составить мед могла...

[*Барков, 48*]

²⁴ См. подробнее: [*Билиарский, 305–306*].

Однако здесь категоричность отрицания идеи пользы в первой строке снята в последующих строках. Польза, по утверждению Баркова, может быть найдена в любом явлении или предмете. Таким образом, выступление Баркова против идеи утилитаризма тут же потерпело фиаско и обернулось ее признанием.

Непосредственно момент творения Стекла изображен автором «Письма» в мифопоэтическом ключе — как временное наступление хаоса.

Стихи 27–29

*Но Етна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разжженная река текла в пучину,*

Речь идет об извержении Этны в 1669 году, когда вулканический пепел застилал небеса в течение двух суток. «Баснотворному» Гераклу противостоит «правда» природного творения, у которого есть и свой природный «свидетель» — Этна.

Как и другие природные объекты в «Письме», знаменитая сицилийская гора одушевлена: она дает путь «чудесным родам». В «Слове о рождении металлов» Ломоносов также приводит свидетельства этого природного катаклизма: «Помыслим о такой темноте, какова была, по известию, которая возгоранием Етны окрестные земли помрачила, что чрез двои сутки человек человека не мог видеть. Таковы мрачные и густые облака песку и пепелу, упав на землю, коль много растений, одавив, покрыли!» [Ломоносов, V, 328].

Безусловно, в «Письме о пользе Стекла» Ломоносов опирается на эти фактические данные (две ночи, мрак, пепел и т. д.), однако ни разу не отсылает читателя к авторитетному источнику и не датирует события. Поэт выдерживает выбранную им форму «мифа творения», создает подобие архаичной модели мира и позитивно оценивает природное явление. Установка мифа творения изменяет и коннотацию художественного образа Этны в сравнении с другими сочинениями Ломоносова.

В одах Ломоносов сохраняет мотивировку древнегреческих мифов, связывавших извержение с гневом заключенных под землю гигантов:

Я духом зрю минувше время:
Там грозный злится исполин
Рассыпать земнородных племя
И разрушить натуры чин!

Он ревом бездну возмущает,
Лесисты с мест бугры хватает
И в твердь сквозь облака разит.
Как Этна в ярости дымится,
Так мгла из челюстей курится
И помрачает солнца вид.

[Ломоносов, VIII, 141]

Ломоносов сохраняет и имена древнегреческих героев, и сюжетную канву мифа:

Что дым и пепел отрыгая,
Мрачил вселенну, Енцелад
Ревет, под Етною рыдая,
И телом наполняет ад;
Зевесовым пронзен ударом,
В отчаяньи трясется яром,
Не может тяготу поднять,
Великою покрыт горою,
Без пользы движется под тою
И тщетно силится восстать.

[Ломоносов, VIII, 400]

Стихи 31–34

*Но ужасу тому последовал конец:
Довольна чадом мать, доволен им отец.
Прогнали долгу ночь и жар свой погасили,
И солнцу ясному рождение открыли.*

После появления на свет Стекла «родители» представляют свое дитя небесному светилу. На первый взгляд у солнца здесь только функция наблюдателя — эпизодического персонажа. Но в структуре мифа «солнце ясное» выступает в роли верховного божества, санкционирующего происшедшее творение. Во-первых, его появление свидетельствует о том, что после «ужасной ночи», разрушившей привычный «натуры чин», восстановлен космический порядок. Во-вторых, присутствие Солнца достраивает вертикальную модель мира — ту пространственную ось, без которой проблематично построение космогонического мифа. «Открытие» дитяти Огня и Натуры Солнцу — это ва-

риант ритуала инициации: обряда признания нового природного объекта верховным светилом²⁵.

Из всех героев ломоносовского мифа — Натуры, Огня, Воды, Солнца — Огонь не только занимает главенствующее положение, но и является наиболее индивидуализированным персонажем: он действует, имеет желания, жилище, внешний облик. Думается, что такое предпочтение связано со сферой деятельности Ломоносова (преимущественно естественные науки), с его сознательной установкой на трансляцию в общество нового знания о силе подземного огня в мифопоэтической форме. Если солнце, земля, вода были доступны современникам Ломоносова для непосредственного наблюдения, то подземный огонь, скрытый от глаз, — явление, требующее описания и объяснения.

Такая прагматическая установка вполне очевидна в научных трудах Ломоносова. Так, в работе «Первые основания металлургии» он, сопоставляя солнечный огонь и огонь подземный, признает превосходство за последним: «Наружного огня сила, простирающаяся только по некоторому расстоянию земной поверхности, в сравнении подземного жару за ничто почесться может» [*Ломоносов, V, 568*]. В другом научном сочинении, «Слове о рождении металлов от трясения земли», Ломоносов тоже настаивает на значимости подземного огня для жизни земли: «Для сохранения оныя <теплоты> чрез толь многия веки везде подземный огонь нужен, ибо весьма невероятно, чтобы солнечные лучи теплотворным движением в такой глубине могли произвести к тому довольное действие» [*Ломоносов, V, 308*].

Концепция природного катаклизма в одах, представленного в образах античной мифологии, прямо противоположна его осмыслению как «чуда природы» в «Письме» — в «мифе творения», завершающемся *называнием* объекта творения.

Стихи 35–36

*Но чтож от недр земных родясь произошло?
Любезное дитя, прекрасное Стекло.*

На протяжении всего «мифа» — двадцати строк — поэт называет своего «героя» в рамках заданных «родственных» отношений («дитя», «чудо»), подчеркивая его зависимость от других природных сил, его несамостоятельность. В заключительной строке этого сюжетного звена «Письма» про-

²⁵ Солнце в поэзии Ломоносова часто предстает именно в качестве «открывателя» природных тайн мира. См., например, в «Утреннем размышлении о Божием величестве»: Уже прекрасное светило / Простерло блеск свой по земли / И Божия дела открыло [*Ломоносов, VIII, 117*].

исходит присвоение персонажу *нового имени* — «прекрасное Стекло». Эта номинация (акт называния принадлежит поэту) завершает миф творения (природа обретает, таким образом, новый объект) и присваивает «герою» новый статус — существа, действующего в человеческом обществе.

Граница между силами природы и миром людей, временем мифологическим и времени историческим четко маркирована оппозицией *вечные/ смертные*: вечным силам природы противопоставлен смертный род людской. В этой мифопоэтической картине мира отсутствует Бог-творец, создатель мира. Процесс творения автор связывает с природными стихиями, которые подчиняются собственным законам. Такую трактовку следует расценивать не как *антирелигиозную*, но как *научно-мифологическую*. Дело в том, что появление в ломоносовской модели мира Вседержителя упразднило бы любой процесс природного творения, который сводился бы к называнию нового объекта Богом. Обращение поэта-ученого к мифопоэтической интерпретации творения, в которой слиты образное и научное постижение мира, связано с функциональной направленностью его произведения.

В «Письме» утверждается полезность любого природного процесса, даже такого, который рождает страх, ужас, отчаянье. Эсхатологический ужас («И свет отчаясь мнил, что зрит свою судьбину! / Но ужасу тому последовал конец»), представленный в мифе, компенсируется обретением нужного во многих областях человеческой жизни материала.

Ломоносов избегает закономерного в данной ситуации клише «конец света», хотя оба слова присутствуют в этих строках и как бы кольцуют двустышие. Возможная причина этого заключается в сознательной установке поэта-просветителя не только не провоцировать эсхатологические настроения, имевшие место в России на протяжении всего XVIII века²⁶, но и заменить состояние возможного страха перед катастрофой на позитивно-рациональное восприятие природного процесса. Подтверждение данному предположению находим в ломоносовском «Слове о рождении металлов от трясения земли», посвященном землетрясениям и извержениям вулканов. Оно начинается со следующего тезиса: «Когда ужасные дела натуры в мыслях ни обращаю, слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них толь страшного, нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило» [Ломоносов, V, 296]. «Ужасные дела натуры» Ломоносов неизбежно связывает с пользой для человека, как и в «мифе творения» «Письма». Два дискурса, *мифопоэтический* и *научно-популярный*, неожиданно совпадают в единой функции — популяризации знаний.

²⁶ Подробнее об этом см.: [Успенский, 519–528; Панченко, 11–265; Покровский, 290–297; Синдаловский].

Стихи 51–58

*Исполнен слабостями наш краткий в мире век:
Нередко впадает в болезни человек!
Он ищет помощи, хотя спастись от муки,
И жизнь свою продлить, врачам дается в руки.
Нередко нам они отраду могут дать,
Умеv приличные лекарства предписать;
Лекарства, что в Стекле хранят и составляют;
В Стекле одном оне безвредны пребывают.*

Болезни как причину человеческих «мук» и смерти побеждает уникальное качество Стекла, способствующее сохранению лекарств. Смещая акценты, то есть отодвигая на второй план роль «врачей», «приличность» лекарств, Ломоносов отдает главную роль «спасителя» людей Стеклу, утверждая, таким образом, зависимость жизни человека от природой и искусством созданного «героя».

О пользе врачебной науки пишет в своей дидактической поэме «Плоды наук» (1761) младший современник Ломоносова — М. М. Херасков:

Подпору здравия в болезнях получить,
Мы тело слабое стараемся лечить;
Грозилab в немощи на всякой час кончина,
Когдаб не знала средств к леченью Медицина.
Она, причины все болезней изыскав,
Нам здравие дает через составы трав;
И тела нашего исследовав сложенье,
Дает и крепость сил, дает и вспоможенье.

[Херасков, 261–262]

Интересно сравнить ломоносовские стихи с фрагментом из поэмы М. М. Тереховского, где панацеей является не стекло, сохраняющее свойство лекарств, а растения, из которых они создаются:

Исполнен слабостями наш краткий в мире век!
Коль часто впадает в болезни человек!
Стихии все сложась на нашу жизнь воюют,
Вода, воздух и огонь вреду споспешествуют.
Увы! и самая презренная глисты
Болезни смертныя нам могут нанести!
Коль часто человек горит от огневицы!
Коль часто он дрожит в ознобе трясавицы!

Что вожденнее лишь может быть для нас,
Как чтоб от смертного одра встать в скорбный час?
Мы ищем помощи, желав спастись от муки,
Чтоб жизнь свою продлить, врачам даемся в руки.
Нередко нам они отраду могут дать,
Умев приличныя лекарства предписать.
Но гдеж врачи берут надежные лекарства?
Единственно берут из недр растений царства!

[*Тереховский, 12–13*]

* *Не могу преминуть, чтобы не указать на одно из подражаний ломоносовскому посланию, сочиненное первым отечественным микробиологом, доктором медицины, профессором химии, ботаники и анатомии Мартином Матвеевичем Тереховским (1740–1796).*

Жизнь и творчество этого ученого во многом сходны с социальными траекториями других ученых века Просвещения. Сын священника казачьего полка учился в Киевской духовной академии и по окончании курса в 1763 году был зачислен учеником в Санкт-Петербургский Сухопутный Генеральный Госпиталь, обучение в котором было рассчитано на семь лет. Однако Тереховский освоил семилетний курс за два года и «по экзамену был произведен в лекари». В 1765 году Тереховский возглавил работы в Медицинском ботаническом саду на Аптекарском острове (ранее «аптекарский огород»), имевшие более утилитарные, нежели научные функции. В 1770 году Тереховский отправился за границу в Страсбург, университет которого славился своей медицинской школой. В течение четырех с половиной лет он обучался там медицинским наукам. Тереховский подготовил и защитил диссертацию по результатам исследования микроскопических организмов («*De Chao Infusorio Linnæi*»), и ему было присвоено звание доктора медицины, выдан соответствующий диплом. Вернувшись на родину, Тереховский получил право практики (1777) и должность «лекционного доктора» в Кронштадтском Генеральном Морском Госпитале, а в 1779 году был переведен в Петербург для преподавания анатомии в Сухопутном Госпитале. Позже читал и курс ботаники. В 1783 году ему было присвоено звание профессора, он был назначен на должность директора Медицинского сада и поселился на Аптекарском острове²⁷.

Поэма «Польза, которую растения смертным приносят» (1796; второе издание — 1809) Тереховского — «матричным способом» созданная научная поэма о ботанике и сферах ее применения в быту и науке. Причем

²⁷ См. подробнее о жизни и творчестве М. М. Тереховского: [*Владимирова, Сбойчаков, 64–72*].

«матрицей» в полной мере является ломоносовское «Письмо», а не поэмы и трактаты европейских мыслителей. Включающая 295 стихов (в ломоносовском «Письме» 440 стихов) поэма Тереховского тоже сориентирована на пропаганду научного знания. Она, как и ломоносовское послание, написана шестистопным ямбом и так же построена на приеме кумуляции «полезностей» — в данном случае «полезностей» растений. Как и его великий предшественник, Тереховский перечисляет «растительного» происхождения предметы, без которых человеческая жизнь была бы невозможна. В первой части поэмы — это «хлеб насущный» (хлеб, вино, пиво). Во второй — мясная и рыбная пища. В третьей — одежда человека, без которой не спастись от ненастья. В последующих четырех — растительные краски, обладающие особой яркостью цвета; леса, используемые в качестве строительного материала, источника света и теплоты и т.п. В заключительной — девятой — части поэмы звучит апология научных поисков и знаний:

< ... > Науки те священны,
Которых знанием народы просвещенны.
Умеют постигать растений естество,
Хранить и размножать их в свете существо.

[Тереховский, 14]

С пафосом страстной любви к науке и к исследуемому предмету Тереховский заимствует у Ломоносова не только жанровую модель, но и целые строки и даже фрагменты [*Дыхне*, 258–269], отнюдь не смущаясь таким литературным копированием. Соположение отрывков из научных поэм Ломоносова и Тереховского выявляет способы культурной ассимиляции ломоносовского текста: заимствование дискурса научного популяризаторства; прямое — без кавычек — цитирование строк и строф «Письма о пользе Стекла»; разворачивание отдельных эпизодов из поэмы Ломоносова; использование некоторых приемов изложения.

Поэма Тереховского «о пользе растений», несмотря на ее подражательный характер, любопытна и как образец культурной практики, заведенной в России именно Ломоносовым: ученый не только постигает тайны природы, но и рассказывает о своих открытиях смертным на «языке богов». Отмечу лишь одно из отличий ломоносовской поэмы от ее палимпсестов. Ломоносову удается сбалансировать научное и художественное, не сбываясь на детализирование научных концепций. Последователям же соблюсти это гармоничное соотношение не удавалось. Например, Тереховский вводит в свою поэму длинные перечисления сугубо медицинских терминов («глисты», «гельминты», «огневица», «трясовица»), явно разрушающие поэтичность дискурса.

Стихи 75–82

*Искусство, коим был прославлен Апеллес,
И коим ныне Рим главу свою вознес,
Коль пользы от Стекла приобрело велики,
Доказывают то Финифти, Моза́йки,
Которы в век хранят Геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц;
Чрез множество веков себе подобны зрятся,
И ветхой древности грызенья не боятся.*

Данное восьмистишие входит в серию примеров «полезностей» стекла в мире людей. Полезность эта связана с искусством, основанном на использовании химических свойств стекла и красок.

Годом ранее эти идеи были риторически убедительно изложены Ломоносовым в прозаическом «Слове о пользе Химии» (1751): «Сии химические изобретения не токмо увеселяющие взор наш перемены в одеяниях производят, но и другие склонности наши довольствуют. Что вящее усердие к себе и почитание в нас возбуждает, как родители наши? Что собственных детей своих любезнее в жизни человеку? Что искренних друзей *приятнее*? Но их часто отсутствие в дальних местах или и от света отшествие отъемлет из очей наших. В таком состоянии, что нас больше утешить и скорбь сердечную умягчить может, как *лица их подобие, живописным искусством изображенное? Оно отсутствующих присутствующими и умерших живыми представляет*. Все, что долгою времени или расстоянием места от зрения нашего удалилось, приближает живопись и оному подвергает. *Ею видим бывших прежде нас великих государей и храбрых героев и других великих людей, славу у потомков заслуживших*. Видим отстоящие в дальних землях пространные грады и великолепные и огромные здания. Обращаясь в полях пространных или между высокими горами,зираем и во время тишины на волнующуюся пучину, на сокращающиеся корабли или способными зефирами к пристанищу бегущие. Среди зимы услаждаемся видением зеленеющих лесов, текущих источников, пасущихся стад и труждающихся земледельцев. Все сие живописству мы должны. Но его совершенство от химии зависит. Отними искусством ее изобретенные краски, лишатся *изображения приятности*, потеряется с вещами сходство, и самая живность их исчезнет, которую от них имеют. Правда, что краски не сохраняют своей ясности и доброты толь долго, как мы желаем, но в краткое время изменяются, темнеют и, наконец, великия части *красоты* своя лишаются. К кому же для отвращения сего недостатка должно было прибегнуть? Кто изобре-

сти мог к долговременному и неперемному пребыванию живописных вещей средства? Та же химия, которая, видя, что от строгих перемен воздуха и от лучей солнечных нежные составы ее увядают и разрушаются, сильнейшее искусства своего орудие — огонь — употребила и, твердые минералы со стеклом в великом жару соединив, произвела материи, которые светлостью и чистотою прежних в деле превосходят, а твердостью и постоянством воздушной влажности и солнечному зною так противятся, что *через многие веки нимало красоты своей не утратили, что свидетельствуют прежде тысячи лет мусею наведенные в Греции и в Италии храмы*. И хотя еще в древнейшие времена употреблены были к тому природные разных цветов камни, для того что тогда и в обыкновенной живописи служили натуральные разные земли за неимением красок, искусством составленных, но великие преимущества, которые стеклянные составы перед камнями имеют, привлекли *в нынешнее время искусных римских художников к их употреблению*» [Ломоносов, II, 363–364].

Сопоставление двух воплощений одной и той же темы в различных типах речи (прозаической и поэтической) демонстрирует разность риторических техник, которыми Ломоносов мастерски владеет. Основной прием в научной поэзии заключается в сворачивании длиннот прозы, а именно в замещении пространного повествования знаковым именем, как бы вбирающим в себя все эти факты, идеи, размышления. Одно из таких имен — Апеллес²⁸.

Апеллес (356–308 гг. до н.э.) — знаменитый древнегреческий живописец, прославившийся своим талантом, а также дружбой с *Александром Македонским (356–323 гг. до н.э.)*. Портреты Александра Великого, написанные Апеллесом, были настолько совершенны, что появилась поговорка о двух Александрах: один, сын Филиппа, непобедим, другой, созданный Апеллесом, неподражаем.

Апеллес упражнялся каждый день, рисуя линии. Сильной стороной своего творчества художник считал харизму, то есть умение воодушевлять зрителя изобразительными образами. Картины, восхищавшие зрителей веками, были созданы, по мнению Плиния, всего четырьмя цветами, зато с помощью покрытия тонким слоем глазури оттенки становились живее, лучше

²⁸ Об Апеллесе Ломоносов пишет и в стихотворном диалоге 1761 года «Разговор с Анакреонтом» (ода XXVIII; в греческом подлиннике эта ода озаглавлена «К девушке»):

Мастер в живописстве первой,
Первой в Родской стороне,
Мастер научен Минервой,
Напиши любезну мне.

[Ломоносов, VIII, 764]

передавали цветовую гамму: «В одном никто не смог подражать ему: он покрывал законченные произведения атраментом таким тонким слоем, что он благодаря отражению придавал краскам блеск и защищал от пыли и грязи, а сам был заметен лишь при рассматривании вблизи, но при этом был большой расчет, так чтобы блеск красок не раздражал зрения, как если смотреть через слюду, и издали это же самое незаметно смягчало слишком яркие краски» [*Плиний Старший*, 98]. Речь идет об особом лаке — глазури, изобретенной Апеллесом.

**Не могу преминуть, чтобы не привести несколько фактов и анекдотов из жизни Апеллеса, известных благодаря Плинию Старшему (23–79 гг. н.э.) и его обширной «Естественной истории» («Naturalis historia» — в значении «описание природы» или «знание о природе»), содержащей сведения о самых разнообразных вещах, в том числе и об искусстве:*

1. «У Апеллеса была вообще постоянная привычка никогда не проводить ни одного дня как бы он ни был занят, без того, чтобы не совершенствовать свое искусство проведя хотя бы линию, и от него это вошло в поговорку. <...> он выставлял на балконе законченные произведения на обозрение прохожим, а сам, скрываясь за картиной, слушал отмечаемые недостатки, считая народ более внимательным судьей, чем он. <...> когда какой-то сапожник, порицавший его за то, что он на одной сандали с внутренней стороны сделал меньше петель, а на следующей день этот же сапожник, гордясь исправлением, сделанным благодаря его вчерашнему замечанию, стал насмехаться по поводу голени, он в негодовании выглянул и крикнул, чтоб сапожник не судил выше сандалий — и это тоже вошло в поговорку»²⁹ [*Плиний Старший*, 95].

²⁹ Этот исторический анекдот лег в основу пушкинской «притчи» «Сапожник» (1836), направленной против критика Н. И. Надеждина:

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!»

[*Пушкин*, III, 123]

2. «...Александр [Македонский. — Т. А.] указом запретил кому-нибудь другому [кроме Апеллеса. — Т. А.] писать себя» [*Плиний Старший*, 95].

3. «<...> Александр выразил свое уважение к нему блестящим поступком: когда он велел Апеллесу написать обнаженной из-за поразительной красоты особенно любимую им из своих наложниц, по имени Панкаспа, и почувствовал, что Апеллес во время работы влюбился в нее, он подарил ее ему <...>. Некоторые считают, что Венеру Анадиомену он написал с нее» [*Плиний Старший*, 96].

4. «Написал он и Александра Великого с молнией в руке, в храме Эфесской Дианы, за двадцать талантов золотом. Кажется, будто пальцы выступают, а молния находится вне картины, — читатели должны помнить, что все это выполнено четырьмя красками» [*Плиний Старший*, 97].

По общему признанию древних авторов, Апеллес — самый великий живописец античности.

Стих 82

И ветхой древности грызенья не боятся.

Эту строку из предыдущего восьмистишия прокомментируем особо. Она содержит странную на первый взгляд метафору «древности грызенья» — образ всеуничтожающего времени, преодолеваемого с помощью искусства. Этот, с античными корнями, образ времени обрел русскую судьбу, начало которой положил Ломоносов в переводе 1747 года «*Exegi monumentum*» Горация.

В 30-й оде третьей книги римский поэт выстраивает ряд явлений, которые способны разрушить все сущее и которым его «*monumentum*», то есть поэзия, не подвластен. В этом ряду: «жестокий» Аквилон (северный ветер), «разъедающий ливень/дождь» («*imber edax*») и «бесконечная цепь грядущих годов, в даль убегающих» («*innumerabilis / annorum series et fuga temporum*») [*Гораций*, 148]. У Ломоносова эти строки звучат так:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.

[*Ломоносов*, VIII, 184]

В достаточно точном переводе Ломоносов редуцирует этот ряд неблагоприятных явлений: из стихий сохранен лишь «бурный Аквилон», а вот качество «дождя», исключенного из стихотворения, — «*edax*» (разъеда-

ющий) — контаминируется со временем и получается «едка древность», время, прошлое разрушающее. В результате этих изменений из трех «врагов» (ветра, дождя и времени) в русском варианте остаются два — стихия ветра и время. Однако удвоение образа времени («множество веков» и «едка древность») позволяет сохранить троичность гораціанской серии примеров. Таким образом, в комментируемой строке метафора «грызенья» времени имеет косвенное отношение к гораціанским образам и непосредственное родство с ломоносовскими литературными опытами их рецепции.

**Не могу преминуть, чтобы не указать на более ранние примеры данных гораціанских мотивов и образов в одах Ломоносова, где он использует обобщенные образы — «гнев стихий» и «мрачна древность»/«ветха древность»:*

Красуйся, дух мой восхищенный,
И не завидуй тем творцам,
Что носят лавр похвал зеленый;
Доволен будь собою сам:
Твою усерднейшую ревность
Ни гнев стихий, ни мрачна древность
В забвении не могут скрыть,
Котору будут век хранить.
Дела Петровой дщери громки,
Что станут поздны честь потомки.

(Ода 1742 г.) [Ломоносов, VIII, 102]

Парящей поэзии ревность
Дела твои превознесет,
Ни гнев стихий, ни ветха древность
Похвал твоих не пресечет;
Открыты естества уставы
Твоей умножат громкость славы,
Но все художество свое
Тебе Иппократ посвящает
И усугубить тем желает
И век, и здравие твое.

(Ода 1746 г.) [Ломоносов, VIII, 155]

Стихи 101–107

*Позволь, Любитель Муз, я речь свою склоняю
И к нежным сим сердцам на время обращаю.
И Музы с оными единого сродства;
Подобна в них краса и нежные слова.
Щастливой младостью Твои цветущи годы
И склонной похвала и ласковой природы
Мой стих от оных к сим пренести не возбранят.*

Традиционный топос торжественного дискурса — это обращение к музам, дарительницам поэтического вдохновения, необходимого поэту

для воспевания выбранного им предмета, чаще всего славы монарха или России. Для российской культуры XVIII века Музы были важными поэтическими персонами, с ними связывалась новая эпоха в культурной истории России. С ними же в русское культурное сознание входит представление о поэтическом таланте как даре, ниспосланном небесами, высшими силами.

Миф о странствующих Музах, бытовавший в русской культуре XVIII века, объявлял Россию «новым приютом странниц» [Луковский. *Русская литературно-критическая мысль*, 106]. Переселенные в русское пространство богини постепенно утрачивают олимпийскую «индивидуальность» (имена, функции, приметы внешности, «биографии»), дифференциация муз «по искусствам» также теряет свое значение. В ломоносовских одах представлен в основном собирательный образ муз («нимфы», «сестры», «муз собор»); лишь в одах 1746, 1751 и 1763 гг. присутствует имя одной из покровительниц наук и искусств — Урании, обозначающее астрономию. Греческие богини не имеют собственных имен и «бесплотны»: как и многие одические персонажи, они лишены портретных характеристик, за исключением традиционного абстрактного поэтизма «сестры прекрасны» (Ода 1763 г.). Другие определения связаны с отношением поэта к покровительницам искусств: «возлюбленные музы», «дражайши музы» (Ода 1748 г.), а также с их функциями и качествами: «чистые сестры» (Ода 1739 г.), «усердные музы» (Ода 1763 г.), «поющие музы» (Оды 1742, 1750, 1763 гг.). Последнее качество, пожалуй, единственное, которое постоянно присутствует в образе музы у Ломоносова («сладкий голос», «торжественный глас», «музыка», «речь поющая», «вопл» муз).

Если олимпийские музы, воспевающие все поколения богов, связывали таким образом прошлое и настоящее, то ломоносовские музы славят *российских* царствующих особ и вдохновляют поэта. Музы не только выражают радость по поводу торжественных событий российской истории, но громко скорбят, например по случаю кончины Петра I и Анны Петровны:

И музы *воплем* провождали
В небесну дверь пресветлый дух.
[Ломоносов, VIII, 201]

Здесь нимфы с *воплем* провожали
Богиню родом, красотой,
[Ломоносов, VIII, 633]

Однако активность муз в одическом пространстве не сводится только к звуковой/речевой деятельности, выражающей восторг или скорбь: музы также «парят», «взирают», «выше облак возвышаются», «взлетают превыше молний». Размах их действий грандиозен: музы «внушают свои вселенной речи».

Более того, в последней оде Ломоносова (1763 г.) музы выступают в роли «пророчиц», «вещающих» о благоденствии современной России и о счастливом будущем императрицы и страны. Поэт опять-таки апеллирует к античному образу, используя свойство (обладание знанием прошлого, настоящего и будущего), присущее богиням Парнаса.

Священная гора — частое, но не единственное место обитания муз в одах Ломоносова. Мифологическая топография, маркирующая связь ломоносовских муз с их греческим прообразом, включает Парнас; Кастальский ключ у подножия священной горы — родник поэтического вдохновения («кастальски сестры»); Пермесс — реку в Беотии, на берегах которой обитали музы («пермесский жар»). Однако Ломоносов, создавая «авторскую» мифологию, помещает муз в российское пространство, вследствие чего античные богини обретают новую топонимическую характеристику: «нимфы Невской Иппокрены» [*Ломоносов*, VIII, 501], «невски музы» [*Ломоносов*, VIII, 776]. Обретение музами «российской» топонимической характеристики становится одним из приемов их русификации не только у Ломоносова³⁰. Отнесенность ломоносовских муз именно к реке (Неве) указывает на сохранение такой существенной черты мифологического прототипа, как его связь с речной (водной) стихией («музы» и «нимфы» в одическом пространстве иногда синонимичны). В данном случае можно говорить о процессе взаимовлияния мифологического персонажа и реального исторического локуса: музы «осовремениваются» — Нева мифологизируется:

И вам, возлюбленные музы,
За горьки слезы и за страх,
За грозно время и плачевно,
Да будет радость повседневно,
При *Невских* обноваясь струях.
[*Ломоносов*, VIII, 216]

Нева в одах — мифологический источник, дарующий музам и поэту обновление. Таким образом, реальное место действия и мифологический

³⁰ Ср., например: «*Московски музы, лиру стройте*» в «Оде ее императорскому величеству Елизавете Петровне, 1756 года» Н. Н. Поповского.

персонаж оказываются на одном уровне художественной условности. Обретение одическими персонажами единого художественного статуса становится едва ли не законом мира, созданного Ломоносовым в одах.

В окружение муз входят как персонажи античной мифологии (Орфей), так и исторические лица — знаменитые поэты древности (Пиндар, Назон, Гомер)³¹. Это поэтическое «сообщество» помещено в некое условно-мифологическое пространство, находящееся «выше облак», «над тучами» и включающее «парнасский ландшафт» с «древями», ручьями, реками и т.п. Прославленные поэты античности выступают в качестве образцов для подражания, так что сами музы могут поучиться у них мастерству.

Взаимоотношения же Ломоносова-поэта и покровительниц искусств представлены в двух основных вариантах:

1. Музы, обладая священным знанием, одаривают поэта сверхчеловеческими способностями. Так, в «Оде на взятие Хотина 1739 года» происходит процесс превращения нарратора (рассказчика) в поэта, которому дано «узреть», понять и поведать о том, что не доступно простым смертным:

Врачебной дали мне воды:
Испей и все забудь труды;
Умой росой Кастальской очи,
Чрез степь и горы взор прости
И дух свой к тем странам вperi...
[Ломоносов, VIII, 18]

Музы наделяют поэта «умными очами», «небесным даром», «восхищенным духом»³².

2. В паре «Поэт — Муза» античная богиня может занимать и подчиненное положение. Поэт распоряжается музами как «служащими», поэтому в обращениях к «музе» (именно в таких случаях Ломоносов употребляет это слово в единственном числе, тогда как в описательных оборотах чаще использует множественное) так часты формы повелительного наклонения глаголов: *взлети, пари, превьись, веди, дерзай ступить, простирайся, шуми, ищи, внушай, представь, спеши* и др. «Счастье» музы, по Ломоносову, состоит в том, что она воспевает именно российскую императрицу — Елизавету Петровну, «всяя земли» красу и диво.

³¹ См., например, «Оду на прибытие Ея Величества Великия Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1742 года» Ломоносова.

³² Разработку этого сюжета можно увидеть в знаменитом «Пророке» А. С. Пушкина, также содержащем мотив превращения: мучительный процесс перерождения человека в пророка происходит *по воле Бога*.

**Не могу преминуть, чтобы не* привести несколько цитат из ломоносовских писем, свидетельствующие о серьезности подхода к музам в цехе поэтов. Ломоносов в письме к И. И. Шувалову 1753 года комментирует оценку творчества А. П. Сумарокова И. И. Елагиним и возмущенно заканчивает: «Однако еще несноснее, что он Аполлона столкав с Парнасса, хочет муз отдать в послушание А[лександр]у П[етрович]у, или, по его мнению и бесстыдному мщению, уже отдал, думая, что музы без Сумарокова никому ничего дать не могут» [Ломоносов, X, 494]. Или в другом письме к тому же адресату (того же 1753 года) Ломоносов пишет: «Я всепокорнейше прошу Ваше превосходительство в том быть обнадежену, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожну, были обо мне беспечальны; а те, которые из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были и знать бы научились, что они своим аршином чужих мерить не должны; и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно. Оне кого хотят, того и полюбят» [Ломоносов, X, 479–480].

Данный экскурс в поэтическую судьбу ломоносовских муз был необходим для того, чтобы подчеркнуть необычность использования этого образа в комментируемом «Письме». Ломоносов пишет о живых цветах из стеклянных оранжерей, украшающих наряды красавиц, а затем обращается к адресату послания, называя его «любителем муз». Далее следует пассаж о ювелирных украшениях: «Прекрасной пол, о коль любезен вам наряд!» Думается, что здесь выражение «прекрасной пол» употреблено в русской литературе впервые.

Объявленное Ломоносовым родство муз и красавиц задает галантный тон повествования, внося игривую двусмысленность в поэтизм «любителю муз». «От оных к сим пренести не возбранят» — эта строка означает, что музы не будут противиться, если поэт перейдет к воспеванию светских красавиц. Как явствует из этого отрывка, музы продолжают выполнять посредническую роль: упоминание муз маркирует переход к новой теме — от оранжерейных цветов к ювелирным изделиям. Но здесь намечена новая разработка образа музы — красавицы, чуждая поэзии Ломоносова. Как было показано выше, ломоносовские оды знают только музу государственную, соперечающую поэту по поводу бед и побед России.

Муза-красавица в «Письме» вписывается и в социальную группу: представительница прекрасного пола в «горящих алмазах», родственная олимпийским музам, — это дама высшего света. Крестьянок же Ломоносов именует «сельскими нимфами».

Стихи 123–140

*Во светлых зданиях убранства таковы.
Но в чем красуетесь, о сельски Нимфы, вы?
Природа в вас любовь подобную вложила,
Желанья нежны в вас подобна движет сила;
Вы также украшать желаете себя.
За тем прохладные поля свои любя,
Вы рвете розы в них, вы рвете в них лилеи,
Кладете их на грудь, и вяжете круг шеи.
Таков убор дает вам нежная весна!
Но чем вы краситесь в другия времена,
Когда лишась цветов, поля у вас бледнеют,
Или снегами вкруг глубокими белеют,
Без оных что бы вам в нарядах помогло,
Когда бы бисеру вам не дало Стекло?
Любовников он к вам не меньше привлекает,
Как блещущий алмаз богатых уязвляет.
Или еще на вас в нем больше красота,
Когда любезная в вас светит простота!*

Научно-популяризаторский по своему посылу ломоносовский текст пронизан актуальными для века Просвещения общественными идеями. Они не пропагандируются и не декларируются Ломоносовым, они даются как а priori существующие и организуют второй — не научный, а социально-философский план текста.

Базовый постулат европейского Просвещения — представление о естественном равенстве людей вне зависимости от сословной принадлежности — в России трансформируется. Западные просветители — Дж. Локк, Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах — выступили с критикой феодальных порядков и защитой идеи естественного равенства людей, которая для европейских обществ была важна не сама по себе, а как основание для развития политической, правовой и образовательной систем. В России эта идея разрабатывается как этическая проблема, а не социальная. Русские дворяне принимали идею равенства и верили в нее всем сердцем, однако стояли на страже своих сословных привилегий. Отмена крепостного рабства не воспринималась ими как одно из первых условий воплощения этой идеи в жизнь.

Последовательным защитником идеи естественного равенства людей и непримиримым борцом против крепостного права выступил А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву». Крестьяне у Радищева

не только объект сострадания, как у Н.И. Новикова, а личности, осознающие свое человеческое достоинство. В радищевском, бунтарском по своему характеру произведении идея естественного равенства развивается в плане социально-юридического установления («закон <...> равен для всех»); в главе «Хотиллов. Проект в будущем» содержится рассуждение о естественном равенстве и естественном праве людей. В первую очередь Радищев возмущен неправотой «порабощения в отношении человека»: «Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о *существенном* человека, а потому и граждан, *равенстве*. <...> доказательства о первенственном равенстве суть движения <...> сердца обыкновенныя. <...>

В училищах, <...>, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человека, мысленно вне общества, принявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следственно, равных во всем между собою и единые других не подвластных» [Радищев, 67–68].

В «Письме» Ломоносова представлена оригинальная трактовка идеи естественного равенства. Автор утверждает эмоциональное, чувственное и эстетическое равенство женщин дворянского и крестьянского сословий. Стекло находит применение в современной индустрии моды, уравнивая дам высшего света и крестьянок в природном желании нравиться и украшать себя ради этого.

Светские красавицы позволяют себе алмазы в стеклянной оправе и любуются собой в зеркалах (для того времени предмет роскоши). Сельские красавицы плетут венки из живых цветов³³, но зимой украшают себя изделиями из бисера.

Подчеркнув различия украшений дворянок и крестьянок, Ломоносов продолжает настаивать на равенстве, но теперь уже — единой природе мужского естества. В строках, посвященных «светским музам», Ломоносов признается в том, что дорогие украшения усиливают привлекательность женщин и удваивают любовный пыл противоположного пола: «Когда блещат на вас горящие алмазы, / Двойной кипит в нас жар сугубыя заразы!» Также и возлюбленные «сельских нимф» увлекаются украшенной бисером красотой. В двух строках, завершающих этот пассаж о нарядах нежного пола, Ломоносов подчеркивает душевное превосходство крестьянок и ценит их естественную красоту, которая так же, как и алмазы, и стекло, связывается с мотивом *света/блеска*.

³³ Правда, цветы эти — «розы» и «лилеи» — условно-поэтические и являются частью поэтического словаря того времени, что можно счесть поэтической инерцией.

«Любезная» Ломоносову простота сельских нимф умножает красоту стекла. Отметим, что эти строки о естественном равенстве прекрасного пола в богатстве и в бедности, и, отчасти, о превосходстве сельских красавиц над дворянскими прелестницами, замечание о внутренних достоинствах красавиц созвучны и радищевским, и карамзинским описаниям крестьянок: Анюты (гл. «Едрово» из «Путешествия из Петербурга в Москву», 1790) и «прекрасной» и «любезной» Лизы («Бедная Лиза», 1792). Вслед за Ломоносовым Радищев именует красавиц-крестьянок «деревенскими нимфами» — и в русифицированном варианте — «сельскими русалками» [*Радищев*, 60–61].

** Не могу преминуть, чтобы не указать на заимствование этих ломоносовских строк М. М. Тереховским в поэме «Польза, которую растения смертным приносят»:*

Во светлых зданиях убранства таковы.
Но чем красуетесь о! сельски нимфы! вы?
Природа в вас любовь подобную вложила:
Желанья нежны в вас подобна движет сила:
Вы также украшать желаете себя
Пригожих пастухов на поле полюбя.
Вы рвете розы в нем, вы рвете в нем лилеи,
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи.

[Тереховский, 11–12]

Стихи 145–178

*В Америке живут, мы чаем, простаки,
Что там драгой металл из сребреной реки
Дают Европскому купечеству охотно,
И бисеру берут количество несчетно,
Но тем я думаю они разумне нас,
Что гонят от своих бедам причину глаз.
Им оны времена не будут в век забвенны,
Как пали их отцы для злата побиенны.
О коль ужасно зло! на то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На толи разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшол кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепаго врага?*

*По тягостном труде снесенном на пучине,
Где предал он себя на произвол судьбине,
Едва на твердый путь от бурь избыть успел,
Военной бурей он внезапно зашумел.
Уже горят Царей там древняя жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Через стены подают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут насытые и златом и тиранством.
Иных свирепствуя в средину гонят гор,
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тиранны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтоб тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: лежат в ней погребены
Бесчастные! или поистине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук!*

Появление в научно-прагматическом пространстве «Письма» Ломоносова кровавой картины завоеваний Южной и Центральной Америки испанскими конкистадорами обусловлено общепросветительским интересом к первобытным народам, к географическим открытиям, к морским путешествиям. Ломоносов осуждает и алчность европейцев, преодолевших столь опасный путь лишь во имя «драгаго металла» — золота, и жестокость захватчиков по отношению к местным племенам индейцев.

Возможными источниками ломоносовских сведений об испанской конкисте могли послужить европейские историко-географические труды того времени, которые в свою очередь представляли компиляцию сведений из сочинений испанских хроникеров XVI века (Петра Мортира, Овьедо, Гомары, Эрреры, Лас Касаса)³⁴. Наиболее вероятным источником, содержащим сведения о жестокости испанцев в колониях, считают трактат *Бартоломе де Лас Касаса (1474–1566) «Кратчайший рассказ о разрушении Индии»* (B. de Las Casas. Brevissima relacion dela destruicion delas Indias. Sevilla, 1552), неоднократно переведившийся в последующие два столетия на французский, итальянский и другие европейские языки [*Дыхне*, 259–260].

³⁴ См. подробнее: [*Дыхне*, 259–260].

В русской литературе Ломоносов — первооткрыватель «американской» темы, интерес к которой сохранится до конца XVIII века. Вот несколько примеров.

В 1759 году на эту тему стихотворением «О Америке» откликнется вечный соперник Ломоносова *Александр Петрович Сумароков (1717–1777)*, выявляя иные черты конкисты, а именно несоответствие благих христианских целей конкистадоров и методов их осуществления:

Коснулись Европейцы суши,
Куда их наглость привела:
Хотят очистить смертным души,
И поражают их тела:
В руке святые держат правы,
Блаженство истинныя славы.
Смирненным мзду и казни злым,
В другой остр меч: ярься пылают,
И ближним щастия желают,
Подобно как себе самим.

[*Сумароков, IX, 168*]

Отметим также еще одно сумароковское сочинение морализаторского толка на американскую тему — «Разговор в Царстве Мертвых. Кортес и Монтесума. Благость и милосердие потребны Героям».

В 1792 году в знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» *Александр Николаевич Радищев (1749–1802)* предаст настоящему суду преступления европейцев перед индейскими аборигенами: «Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного сильными природы потрясения полукружия почувствовали соху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былие свое острием косы подсекаемо. Валяются на горах гордые деревья, издревле вершины их осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную переселенными. Тучные луга потаптываются многочисленным скотом, на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индейцев одновременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя

бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Си-и-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произращениями разнovidными. Назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустети паки обильным сим странам! Дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает»» [*Радищев*, 69–70].

В 1796 году М. М. Тереховский в вышеупомянутой поэме «о пользе растений» увеличил повествование о варварских грабежах испанцами аборигенов Америки по сравнению с Ломоносовым в два раза (76 стихов), детализировав страшную картину завоеваний, например, фактом людоедства среди конкистадоров: «Единого от нас в снедь должно разтерзать»; «И кожу с скрежетом зубов, раздрав, жевали»; «Как волки алчные, ту мертвечину жрали» [*Тереховский*, 5–6].

Стихи 205–243

Почти 40 стихов «Письма о пользе Стекла» посвящены пересказу и новому истолкованию мифа о Прометее. Это единственный в литературном творчестве Ломоносова случай, когда он упоминает Прометея. Подвиг Прометея, начиная с эпохи эллинизма, представляет интерес не столько сам по себе, сколько многочисленными и разносторонними его интерпретациями. История толкований образа Прометея как «всемирно-исторического символа цивилизации» являлась предметом исследований многих ученых (А. Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, А. А. Тахо-Годи). В ряду разнообразных — героических, моральных, эстетических, философских, социальных и др. — трактовок мифа о «подлинном культурном герое, благодетеле человечества» (Е. М. Мелетинский), находит свое место и ломоносовский сюжет о похитителе огня, представленный в «Письме».

Традиционно ломоносовский Прометей понимается как «символ передовой науки на пользу человечества» (А. Ф. Лосев, Г. А. Гуковский, Д. Д. Благой). Безусловно, эта смысловая грань мифопоэтического образа является важной, но отнюдь не единственной. Мифологическая ситуация, использо-

ванная Ломоносовым в поэме, дает возможность выделить несколько уровней интерпретации античного образа.

Ломоносовская интерпретация диалектична и включает в себя, во-первых, демифологизацию старого античного образа, во-вторых, присвоение ему нового содержания. В интересующем нас фрагменте «Письма о пользе Стекла» выделим три основных части: 1) причины возникновения мифа о похищении огня с точки зрения Ломоносова; 2) ломоносовская версия мифа о Прометее; 3) новое толкование исходного античного мифа.

Стихи 205–209

*Взирая в древности народы изумленны,
Что греет, топит, льет и светит огонь возжженный,
Иные Божеску ему давали честь;
Иные знать хотя, кто с неба мог принести,
Представили в своем мечтанье Прометей.*

Своеобразным прологом к мифу о похищении огня можно считать изложение Ломоносовым своей точки зрения на вопрос о возникновении древних мифов об огне вообще, вне их национальной определенности (своеобразная этиология мифа о похищении огня в понимании Ломоносова).

Время появления мифов — эпоха «древности»; слово это у Ломоносова обозначает не только «далекое прошлое», но и все «темное», которому противопоставлены нынешние «просвещенные дни» [Ломоносов, VIII, 517]. Временная оппозиция *древность/современность* оказывается в контексте «Письма» синонимичной культурно-философской оппозиции *невежество/просвещение*.

Одной из причин возникновения древних мифологических сюжетов об огне Ломоносов называет «изумление» народов, вызванное многоликостью этого природного явления. Ломоносов говорит только об одной из функций огня, исключая из рассмотрения его природно-стихийные, враждебные людям проявления. Зависимость людского рода от огненной стихии — это психологическая основа ее религиозного почитания, мифотворчества. При общем отрицательном отношении к мифологии как к «нескладным вракам» Ломоносов тем не менее признает ее познавательное значение.

Образ Прометей возникает как создание «мечтанья» древних, пытающихся объяснить получение небесного огня. В сущности, Ломоносов выявляет (в просветительско-позитивистском ключе) специфику мифомышления древнего человека. Кроме того, такое определение («мечтанье») подчеркивает условный характер древнегреческого мифа о Проме-

те и констатирует мифологический *вымысел*. После определения причин мифопорождения Ломоносов излагает свою версию античного мифа.

Стихи 210–213

*Что многи на земли художества умея,
Различныя казал искусством чудеса:
За то Минервою был взят на небеса;
Похитил с солнца огонь и смертным отдал в руки.*

Ломоносов сохраняет основное ядро мифологического повествования — мотив похищения огня — лишая при этом подвиг Прометея героического ореола. Поэт оставляет без внимания сложные родственные отношения богов, перипетии титаномахии, великую тайну Прометея, соперничество за власть верховного владыки Олимпа и его двоюродного брата, каковым приходился Прометей Зевсу.

В схематичном и до определенного момента беспристрастном повествовании участвуют три основных персонажа греческого мифа, один из которых — богиня войны и справедливости — выступает с римским вариантом имени — Минерва (подобное неразличение греческой и римской мифологий характерно в целом для русской поэзии XVIII века). Единственная функция верховного олимпийского бога в «Письме» сводится к изъятию им гнева по поводу похищения огня. В мифологической традиции приказ Зевса выполняет Гефест, но для поэта вопрос, кто является исполнителем верховного предписания, несуществен.

Главный герой мифа Прометей предстает в сюжете Ломоносова не сверхъестественным существом — сыном титана Иапета, двоюродным братом Зевса, а искусным умельцем, творящим «чудеса», понимаемые вполне рационально — как «чудеса искусства». Если в античной мифологической традиции Прометей учит людей ремеслам, и в этой связи возникает мотив «пользы людям», благодетельной функции героя³⁵, то у Ломоносова этот мотив полностью отсутствует. «Чудеса», творимые Прометеем, становятся причиной пространственного перемещения героя — «на небеса».

Тенденция к максимальному упрощению древнего повествования распространяется и на кульминационный момент мифологического сюжета — похищение огня и его передачу человеческому роду. Описание этой коллизии укладывается у Ломоносова в одну строку: «Похитил с солнца огонь

³⁵ Ср., например, в «Прометее прикованном» Эсхила: «От Прометея у людей искусства все» на «пользу людям».

и смертным отдал в руки». В ломоносовской версии солнце не мифологизировано: нет ни кузницы Гефеста, ни колесницы Феба, откуда, по разным мифологическим версиям, Прометей похищает огонь. Верховное светило предстает сугубо природным объектом. Перечень событий не содержит никаких оценок: они появляются далее — при изображении наказания героя.

**Не могу преминуть, чтобы не процитировать несколько строк из «Феоптии» Третьяковского, где также звучит тема пользы огня. Третьяковский, на наш взгляд, развернул в более пространное описание глагольный ряд названных Ломоносовым «полезностей» огня в человеческом мире, а именно:*

«греет, топит» — «Возжегши дров костер, себя он жаром греет» [Третьяковский, 226];

«льет» — «Он разливает свой, как крилами, весь пламень, / Проникнет и в крушец и в твердый самый камень» [Третьяковский, 226];

«и светит огонь возжженный» —

Все поглощает сей *возжженный* так *огонь*,
Ничто уж от его не уйдет в бег погонь;
<...>
Всего дражайше огонь зимою, равно летом,
Единственным всегда всем пребывает светом;
Не токмо жив ноши нам от огня *светло*,
Но от огня еще приемлем и *тепло*.
Потребность от огня словами необъятна,
Довольно, что его есть вещьность всем приятна.
Премудро нас огнем снабдило божество:
Замерзло б без него все на все естество.
[Третьяковский, 226–227]

Третьяковский завершает пассаж о функциях огня в мире «свернутым» прометеевским сюжетом с традиционно просветительской — негативной — оценкой античных мифов как способа толкования природы и человека, имеющая миф о самом значительном подвиге смертного «басню поганской»:

Язычники затем драгим огонь полагали,
Что лучшим для себя сокровищем познали,
Какое человек похитит выпры возмог
И в дол земный унестъ: был без огня убог.
Но баснь поганска прочь; по правде, несравненно
Сокровище сие и есть неоцененно!
[Третьяковский, 227]

Стихи 214–220

*Зевес воздвиг свой гнев, воздвиг ужасны звуки.
Продерсского к горе великой приковал,
И сильному орлу на растерзанье дал.
Он сердце завсегда коварное терзает,
На коем снова плоть на муку вырастает.
Там слышен страшный стон, там тяжка цепь звучит,
И кровь чрез камни в низ текущая шумит.*

Если описанию главного героя и основного события мифа Ломоносов посвящает 4 стиха, то рассказ о казни Прометея занимает в два раза больше места. Эпизод наказания героя интересует Ломоносова более, нежели сам подвиг и его последствия для человечества. Поступок Прометея не только не расценивается как подвиг, но получает скорее негативную оценку. Прометей в интерпретации Ломоносова — это дерзкий и коварный обманщик (см. оценочные эпитеты: «*продерский*», «*коварное*» сердце). Возможно, здесь Ломоносов следует римской традиции осудительного изображения Прометея — Прометея дерзкого, совершившего «злой обман» (как, например, в третьей оде книги первой Горация: «Сын Иапета *дерзостный*»).

В ломоносовской картине мучений героя «завсегда» орел терзает «сердце коварное» Прометея. Как известно, в античной традиции птица клюет печень героя, и у этой детали мифа были свои основания. По представлениям греков, печень есть место пребывания страстей и вожделений, которые хотя и могут быть укрощены духом, однако снова и снова восстают против него. Физиологическая подробность, утратившая свое конкретно-историческое обоснование, оказалась неважной (возможно, и непоэтичной) для Ломоносова. Такая замена, правда, не лишила сцену казни натуралистичности, однако сам герой как бы устранен из этого повествования: орел терзает сердце, плоть вырастает, кровь течет, слышны стон и звук гремящей цепи. Указания на точное место кары, известное мифологической традиции, — горы Кавказа — Ломоносов избегает. «Гора великая», где терпит муки Прометей, находится в условно-мифологическом пространстве — «там» («Там слышен страшный стон, там тяжка цепь звучит»). По Ломоносову, освобождения Прометей не получает; на картине «несносной жизни» героя парафраз мифа обрывается: «О коль несносна жизнь! Позорище ужасно!»

Стихи 222–228

*Но в просвещенны дни сей вымысл видим ясно.
Пииты украшать хотя свои стихи,*

*Описывали казнь за мнимые грехи.
Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем,
И Прометей тем безбедно подражаем.
Ругаясь подлости нескладных оных врак,
Небесным без греха огнем курим табак;*

Резюме мифа в пересказе Ломоносова, во-первых, маркирует временную границу ломоносовского повествования (*древность/современность*); во-вторых, уточняет смысл противопоставления эпох (*просвещенные/непросвещенные*) и, в-третьих, определяет содержание изложенного мифа как вымысел. Следующее затем толкование античного мифа переводит вымысел на уровень рационального домысла, который в свою очередь может быть квалифицирован как новая версия старого мифа, где культурным героем является не персона божественного ранга, а один из смертных — ученый.

Мифологическому вымыслу о похищении огня с небес противопоставляется современный «безбедный» способ получения огня с помощью увеличительного стекла. Ломоносов обытовляет подвиг Прометей и снижает образ самого героя (любой человек без труда повторяет его подвиг) и значение огня в современном мире, когда священный «небесный огонь» служит, например, для раскуривания трубки. Просветительский взгляд Ломоносова признает греческий миф несостоятельным и разрушает его, предлагая взамен собственный — миф о Прометее как о первом ученом.

Стихи 229–230

*И только лишь о том мы думаем, жалея,
Не сверглась ли в пагубу наука Прометей?*

Ломоносов стремится осмыслить человеческую жизнь вне мифологических чудес. Новая версия прометеевой истории такова: за свои научные увлечения (наблюдения за звездами «сквозь телескопы» и умение «сводить с небес» огонь с помощью стекла) Прометей-человек был объявлен «чародеем» «невеждами» и «варварами», которые и «предали на казнь» ученого.

Получение огня ломоносовским Прометеем осуществляется с помощью Стекла, уже мифологизированного в «Письме» и выступающего в качестве «божественного дара», «чудесного» предмета, «чуда природы». Собственно весь сюжет о Прометее, «древнем» и «новом», является ответом на вопрос, связанный с заглавным героем послания — Стеклом: «Не дар ли мы в Стекле божественный имеем?» Мотив дара является одним из ведущих в мифологической традиции о Прометее, ведь бессмертный герой приносит лю-

дям разнообразные дары: ремесла, способы врачевания, гадания, умение добывать полезные ископаемые и др., — в числе которых находится и огонь. Ломоносов смещает акценты: легендарность Прометея-ученого заключается в том, что он первым использует «божественный дар» — Стекло. Чудеса древнего мифа замещаются в новом мифе «чудом естества», а чудесный герой оказывается замещен чудесным предметом.

Таким образом, дискредитируя «нескладные враки» античной мифологии, Ломоносов использует один из ее сюжетов как прообраз реальных исторических процессов, в данном случае — борьбы за развитие научного знания. Мифологический герой обретает квазиисторический статус, а исторические лица получают мифологическую характеристику (так, древнегреческий астроном Аристарх Самосский назван «неистовым Гигантом, / Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти»). Вырванный из мифологического контекста и включенный в цепь исторических событий Прометей становится пращуром цивилизации и первопродком научного сообщества.

Ломоносовская концепция Прометея как первого ученого имеет свое продолжение в русской культуре. Так, для своего эссе «Опыты, касающиеся военной истории» («Тетради для сочинений») М. Н. Муравьев заимствует у Ломоносова рассуждение о мифе и о Прометее, начиная свое сочинение следующим образом: «В баснословии, которое часто скрывает общия и постоянныя истины под покровом вымышленных приключений, Прометей за то наказывается богами, что он даровал смертным огонь, похищенный им с неба, — огонь, прообразование и средство искусств» [Муравьев, I, 202]. Следуя ломоносовской логике, Муравьев обозначает перспективу развития науки и миропонимания: «Глубокое размышление, счастливый случай и божественная искра, которая вылетает внезапно из персей преимущественных гениев, распространяет до *безконечности* пределы искусств и увеличивает силы человеческого рода. Последование времени прибавляет *беспременно* к изобретению, и то, что было прежде игрою любопытства, становится важным и неодолимым способом» [Муравьев, I, 203–205].

Другой младший современник Ломоносова *Семен Сергеевич Бобров* (1763–1810) в одной из строф научной поэмы «Обузданный Юпитер, или Громовый отвод» (1784–1791?) также предлагает просветительский, во многом повторяющий ломоносовский, сюжет о безбедном низведении небесного огня на землю:

Коль наши дни благословенны,
Где мрак сей древности исчез? —
Здесь червь уносит просвещенный
Перун из рук отца богов;

Здесь он не грома в небо мечет,
Чтоб царство огненное взять,
И, как гиганты, не трепещет
Эфирны силы обуздать.

[Бобров, I, 301]

Стихи 243–248

*Коль точно зналиб мы небесныя страны,
Движение планет, течение луны,
Когдабы Аристарх завистливым Клеантом,
Не назван был в суде неистовым Гигантом
Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти,
Круг центра своего, круг солнца обнести;*

У российской астрономии в XVIII веке, несмотря на все гонения, завидная участь, Урания — муза популярная и даже модная. Служащие в Коллегии иностранных дел переводят древние и современные книги по небесной науке; Ломоносов изобретает «ночезрительные» трубы, воюет с мракобесами, запрещающими распространение европейского передового знания; открывается первая обсерватория (1725); астрономические занятия становятся дворянским увлечением-развлечением. Но в середине века Ломоносов еще бьется за право утверждения основных космологических идей в русском обществе.

В этих и последующих строках Ломоносов выстраивает историю знания как историю астрономии и концепций мироздания с «самой древности» — с античности. Точкой отсчета он выбирает одно из событий в научном мире Древней Греции — столкновение нового научного предположения о строении Вселенной с устоявшимся и религиозно освященным представлением о ней. Конфликт случился между двумя древнегреческими мыслителями — александрийским математиком и астрономом *Аристархом Самосским* (ок. 310 — ок. 230 г. до н.э.) и афинским философом-стоиком *Клеанфом* (ум. ок. 232 г. до н.э.).

Справедливости ради отметим, что тезис об относительности покоя Земли и идея нецентрального ее положения во Вселенной были известны грекам и до Аристарха: их высказывали пифагорейцы. В пересказе *Аристотеля* (384–322 гг. до н.э.) эти мысли сводятся к следующему: в центре мироздания находится огонь, причем фантастический, — «Очаг Вселенной», а Солнце лишь зеркало, отражающее свет фантастического светила Гестии, а земля же — звезда, которая движется по кругу вокруг центра, вызывая смену дня и ночи³⁶.

³⁶ См. подробнее: [Житомирский, 151–160].

Александрийский ученый Аристарх, о котором пишет Ломоносов, перешел от абстрактной идеи к ее математическим доказательствам; привел в соответствие картины видимого движения небесных тел с теоретической моделью, дав простое объяснение смене дня и ночи и времен года, а также загадочным движениям планет.

Однако гелиоцентрическая гипотеза Аристарха не встретила одобрения и не получила дальнейшей разработки в научных школах Греции. Напротив, идея периферийного положения Земли не устроила греков и подверглась критике, причем из области научных гипотез противник Аристарха Клеанф (у Ломоносова — Клеант) перенес ее в сферу сакрального, в которой не только причинно-следственные связи, но и факты не имеют никакой силы и значимости. Известно, что Клеанф был кулачным бойцом, но, придя в Афины, сменил боевое ремесло на труд ученого-философа, став учеником Зенона Китийского. После смерти учителя Клеанф стал руководителем стоической школы и написал книгу «Против Аристарха» [*Диоген*, 322]. В немногих сохранившихся фрагментах работ Клеанф предстает талантливым мыслителем и поэтически одаренной личностью, отличающейся религиозностью, не свойственной ранним стоикам [*Столяров*]. Скучные сведения о Клеанфе и его философском наследии не позволяют установить причину резкого неприятия им новой модели мира. Клеанф обвинил Аристарха в безбожии, заключающееся в том, что Аристарх «сдвинул с места Очаг Вселенной».

Об этом столкновении научного знания и религиозного догмата упоминает другой грек, писатель и философ *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127 г.). Один из участников диалога в его сочинении «О лике, видимом на диске Луны» говорит: «Только, мой дорогой, не начни против меня процесса вроде Клеанфа, по мнению которого долгом всех греков было предъявить Аристарху Самосскому обвинение в безбожии за то, что он сдвинул с места Очаг Вселенной; он сделал это в попытках «сохранить явления», предположив, что небо неподвижно, а Земля обращается по косому кругу (эклиптике), вращаясь одновременно вокруг своей оси»³⁷.

Судя по всему, не был Клеант «завистливым», а был он религиозным. И не называл он Аристарха Гигантом, но это уподобление вполне подходит к античному антуражу повествования. Ломоносов пишет своего рода «мифоисторию» науки, по большей части астрономии, основным стержнем которой является борьба ученых и защитников догматической веры во все времена.

³⁷ См. подробнее: [*Веселовский. Аристарх Самосский*, 64; *Еремеева, Цицин*].

Стихи 249–254

*Дерзнувшим научать, что все домашни Боги
Терпят великой труд всегдашния дороги;
Вертится вокруг Нептун, Диана и Плутон:
И страждут туже казнь как дерской Иксион;
И неподвижная земли Богиня Веста
К упокоению сыскать не может места.*

Дерзость Аристарха, дважды подчеркнутая эпитетами («дерзнувший научать», «дерзкой Иксион»), осмысляется с точки зрения ломоносовского Клеанта. Он не может смириться с тем, что планеты Нептун, Диана, Плутон, отождествлявшиеся с богами и находившиеся согласно общепринятой геоцентрической системе в небесном своде неподвижными, потеряли свое величие и «терпят великой труд всегдашния дороги». Отдельно из планет-богинь Ломоносов выделяет Землю, которая тоже находится в постоянном движении и не может «сыскать» себе покоя. Ирония Ломоносова направлена на изобличение языческой религии и догматики, уже давно умерших. Отметим два момента.

Во-первых, российского ученого можно упрекнуть в отсутствии историзма мышления: он подходит к оценке явления тысячелетней давности с мерками Нового времени, с точки зрения ученого, которому уже известна истина. И здесь риторика вступает в свои права: Ломоносову нужно утвердить передовую науку, поэтому он пропагандирует астрономическое знание, а астрологическая система будет использована им в поэтическом языке од: например, Елизавета, рожденная под знаком Марса и т.д. Но в научной риторике, направленной на защиту науки от посягательств сторонников догматической веры, уместна издевка и над небесными светилами-богами, «терпящими» дороги в небе, и над Землей-Вестой, не находящей себе покоя.

Во-вторых, нельзя не отметить тонкий художественный вкус Ломоносова, который уподобил «планеты-боги», вращающиеся вокруг Солнца, «дерзкому Иксиону», не очень симпатичному персонажу древнегреческой мифологии. Иксион, царь лапифов в Фессалии, убил своего тестя Деионея, чтобы не отдавать обещанные им за руку невесты дары. Его допустили к трапезе богов, и он попытался соблазнить Геру; когда же Иксион начинает похваляться своей победой над Герой, то Зевс велит привязать его к вечно вращающемуся колесу (во многих версиях мифа — огненному) и забросить его в небо. Наиболее ранняя литературная фиксация мифа об Иксионе — у Пиндара. Сюжет мифа не стал популярным материалом

художественных интерпретаций [Ярхо, I, 504], так же как Иксион — востребованным литературным персонажем. Но у Ломоносова в контексте разговора о вечном движении сюжет казни с вечно вращающимся огненным колесом как нельзя более уместен. Это сравнение соответствует эпохе и взято из той же мифологии, к которой принадлежат упоминаемые выше Нептуны и Плутоны.

**Не могу преминуть, чтобы не предложить прозаическую версию данного фрагмента из научного трактата Ломоносова «Явление Венеры на Солнце». Написанный девятью годами позже «Письма» этот отрывок не только по идеям и пафосу, но и по образности повторяет комментируемый текст: «Древние астрономы (еще задолго до Рождества Христова): Никита Сиракузянец признал дневное Земли около своей оси обращение, Филолай — годовое около Солнца. Сто лет после того Аристарх Самийский показал солнечную систему яснее. Однако эллинские жрецы и суеверы тому противились и правду на много веков погасили. Первый Клеант некто доносил на Аристарха, что он по своей системе о движении Земли дерзнул подвигнуть с места великую богиню Весту, всяя Земли содержательницу, дерзнул беспрестанно вертеть Нептуна, Плутона, Цересу, всех нимф, богов лесных и домашних по всей Земли. Итак, идолопоклонническое суеверие держало астрономическую Землю в своих челюстях, не давая ей двигаться, хотя она сама свое дело и божие повеление всегда исполняла. Между тем астрономы принуждены были выдумывать для изъяснения небесных явлений глупые и с механикою и геометриею прекословящие пути планетам, циклы и эпициклы (круги и побочные круги)» [Ломоносов, IV, 371].*

Стихи 255–256

*Под видом ложным сих почтения Богов
Закрыт был звездный мир чрез множество веков.*

Ломоносов по своему обыкновению объявляет ложными и языческое поклонение богам, и само геоцентрическое учение об устройстве мира, закрывшее путь к исследованию Вселенной. Ломоносовское «чрез множество веков» можно вычислить почти точно — через восемнадцать веков. Примерно через 1800 лет после открытия Аристарха Самосского гелиоцентризм возвращается в науку в трудах Николая Коперника. Ложная религия «закрывала» путь к истинному знанию — такова логика Ломоносова.

Стихи 267–269

*Оттоле землю все считали посреде.
Астрѳном весь свой век в бесплодном был труде,
Запутан циклами, <...>*

Центральное положение Земли (ошибочно «землю все считали посреде») было обосновано и утверждено другим крупным ученым позднего эллинизма — *Клавдием Птолемеем (87–165)*, детально изложившим геоцентрическую, являющуюся неравильной систему мироздания в «великой книге» «Альмагест» («Almagest», 140 г.). «Запутанные циклы», которые упоминает Ломоносов, являются частью Птолемея учения. Так называемые эпициклы представляли собой сложные модели движения небесных светил вокруг Земли и по некоторому деференту, искусственно придуманной окружности вращения. Эти мудреные построения были необходимы для объяснения неравномерного движения планет по окружностям. Причем такое объяснение вполне вписывалось в религиозные представления о планетах-божествах, которые якобы могут совершать только равномерные движения. Многообразные видимые движения планет объяснялись как результат сложений нескольких равномерных движений по окружностям.

** Не могу преминуть, чтобы не привести определение Фонтенеля сложных птолемеевских эпициклов в переводе А. Кантемира: «Могу похвасть, ответственвал я; что я так тебе толковал систему сию [систему Вселенной. — Т. А.], чтоб она тебе не трудна показалася. А если бы я ее такую представил, какова вымышлена от Птолемея, ея изобретателя, или от тех, которые в том после него трудилися, тотчас бы показалася она тебе чудным неким страшилищем. Движение планет, будучи не столько порядочно, что оне не шли иногда скоряе, иногда тише, иногда одним образом, иногда другим, иногда ближе к земле, иногда далее. Древние выдумали не знаю сколько кругов, спутанных один в другом, которыми некако доказывали все те непорядочныя хождения планет. Замешательство всех тех кругов так велико было, что в некое время, когда еще ничего лучшаго не знали, некоторой кастильскый король, великой математик, но, как видится, не весьма богочтителный, говаривал, что ежелибы Бог, когда мир строил, позвал его в совет свой, он бы ему преизрядные дал советы. Слово сие немного отважно, но тем самим довольно забавно, что система сия была тогда причиною греха, будучи весьма сумятна. Без сумнения, советы преизрядные, которые роль сей хотел бы Богу дать, были бы о убавке всех тех кругов, которые великую сумятицу делали в движениях небесных, и о уменьшении двух или*

трех небес лишних, которыя поставлены повыше звезд неподвижных. Философы бо тогдашние, для показания какового ни есть вида движения в телесах небесных, поставляли сверх последнего сего неба, которое мы видим, некое хрустальное небо, которое подавало движение то нижним небесам. Лише бы новое какое усмотрели движение, тотчас новое хрустальное небо. Одним словом, хрустальные небеса были весьма дешевы» [*Кантемир*, II, 409–410].

В 1730 году Кантемир перевел трактат Б. Фонтенеля «Разговор о множестве миров» (опубликован в 1740 году), где в популярной форме отстаивалась гелиоцентрическая система мира. Перевод книги и примечания к ней (1742), многие из которых вошли в письма «О природе и человеке» (1742), сыграли значительную роль в разработке русской научной терминологии. Кантемиром введены такие термины, как начало (принцип), понятие (идея), наблюдение, плотность, вихри и др. Он пишет и религиозно-философское рассуждение, включавшее одиннадцать писем, которое получило в науке название «Письма о природе и человеке».

Стихи 269–276

*<...> пока восстал Коперник,
Презритель зависти, и варварству соперник.
В середине всех Планет он солнце положил,
Сугубое земли движение открыл.
Однем круг центра путь вседневный совершает,
Другим круг солнца год теченьем составляет,
Он циклы истинной Системой разтерзал,
И правду точностью явлений доказал.*

В наши дни историки научного знания спорят о том, можно ли назвать произошедшие сдвиги в науке XVI–XVII веков интеллектуальной революцией, или следует рассматривать этот процесс как постепенное развитие³⁸. Ломоносовский пассаж о Копернике и его гелиоцентрической концепции явно свидетельствует о том, что ученый-поэт поддержал бы точку зрения о взрывном, революционном характере интеллектуального процесса Нового времени.

Польский ученый немецких кровей *Николай Коперник* (1473–1543) в своем самом известном научном сочинении «Об обращении небесных сфер» («*De Revolutionibus Orbium Coelestium*», изд. в Нюнберге в 1543 году),

³⁸ См. подробнее: [Дмитриев].

не ссылаясь на своего античного предшественника (о причине этого замалчивания можно только гадать), вновь поменял Землю и Солнце местами и предписал им истинный порядок вращения.

Учение Коперника ждала схожая с Аристарховым участь: после выхода в свет книга была признана католической церковью «богомерзкой ересью». Официальный запрет на коперниковскую концепцию мира был наложен в 1616 году; книга включена в Индекс запрещенных книг, которые нельзя ни печатать, ни читать, ни даже хранить у себя. Кстати, нарушение этого запрета итальянским ученым *Галилео Галилеем (1564–1642)* в «Письмах о солнечных пятнах», «Диалогах о двух главнейших системах мира» в 1633 году повлекло инквизиционное разбирательство по подозрению Галилея в ереси. Результатом стало вынужденное (под угрозами пыток, а может, и под пытками) унижительное отречение Галилея от своих взглядов и пожизненное заключение в монастырь [*Гурев*, 98–102].

Ломоносовский Коперник предстает героем науки³⁹, бунтовщиком, рассказывая об открытии которого Ломоносов соединяет научную астрономическую лексику, доступную для читателя («круг центра» — вращение вокруг своей оси, «круг солнца» — вращение по орбите вокруг Солнца, «циклы» — эпициклы Птолемея) с глаголами воинственной семантики («восстал», «растерзал», «доказал»).

³⁹ Научные изыскания в области астрономии, увлекшие не только профессионалов, но и дилетантов, породили «мифокультурную астрономию» со своими сюжетами, героями и образами. Культурным героем в ней вплоть до конца века оставался Коперник. В подтверждение нашей мысли приведем один, но наш взгляд, показательный пример из совсем не астрономического сочинения — «Писем русского путешественника» (1791–1792; первое полное издание 1801 года) *Н. М. Карамзина (1766–1826)*.

«Здесь жил и умер Коперник», — сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко. — «Итак, это Фрауенберг?» — «Точно».

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он, по своим наблюдениям и вычислениям, определил движение земли вокруг ее оси и солнца — земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре планет и которую после Тихо де Браге хотел было опять остановить, но тщетно! — И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись греки, верившие своим чувствам более, нежели философу, воскресли в системе Николая Коперника? — Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие — хотя он жил еще под его скипетром — не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины. Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо де Браге должен был оставить свой философский замок и отечество. Науки, подобно религии, имели своих страдальцев» [*Карамзин*, 58].

Любопытно, что, не сумев осуществить реальное паломничество к «славному астроному», путешественник совершает его мысленно, представляя в своем воображении ученых, излагая их научные концепции и жизненные перипетии и — уравнивая логикой изложения и прямым сравнением науку и религию.

Данный отрывок «Письма» может быть рассмотрен как самостоятельный законченный текст. Обратим внимание на еще одну особенность языкового и поэтического мастерства Ломоносова. Глаголы совершенного вида в прошедшем времени и их положение в сильной, конечной позиции с мужской рифмой («положил»/«открыл», «растерзал»/«доказал») постулируют открытие Коперника в качестве непреложной истины, в то время как вечное движение Земли вокруг своей оси и вокруг главного светила Ломоносов передает с помощью глаголов несовершенного вида настоящего времени с женской рифмой (путь «совершает», «год течением составляет»). Ломоносову, на наш взгляд, удастся не только верно и доступно изложить научное знание, но и утвердить его истинность, а также — создать зрительную иллюзию научной модели мира, одновременно как бы наблюдаемую в настоящем и протяженную в нескончаемом времени.

** Не могу преминуть, чтобы не привести любопытный образец сочинения, написанного Ломоносовым в защиту гелиоцентрического учения Коперника, — стихотворение «Случились вместе два Астронома в пиру» (1761). В нем в шуточной форме изложены нешуточные положения многовекового научного спора о том, что и вокруг чего вертится:*

Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит.
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд течение знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье разсуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова?»

[Ломоносов, VIII, 695]

Это стихотворение, помещенное Ломоносовым в трактат «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской Императорской Академии Наук мая 26 дня 1761 года» [Ломоносов, IV, 361–376], во многом изоморфно пассажи о научном столкновении, а где-то буквально вторит строкам из послания Шувалову. Приведенное выше и другое («Я долго раз-

мышлял и долго был в сомненье...») стихотворения были введены Ломоносовым в текст «Прибавления» к научному трактату. «Прибавление» было еще одной попыткой Ломоносова примирить церковное учение с современными научными концепциями о мире — с гелиоцентрическим учением и идеей множественности обитаемых миров.

Ломоносов настаивает на том, что нет противоречия между церковными догматами и научными открытиями. Он пытается выстроить логическую цепь доказательств, одним из которых становится «научный» стихотворный анекдот «о двух астрономах». Исследователи называли разные источники этого шуточного по форме стихотворения в защиту коперниканской системы мира.

1) Источником стихотворения «Случились вместе два Астронома в пиру» комментаторы академического собрания сочинений Ломоносова со ссылкой на Д. Д. Благого считают забавное описание Вселенной в романе «Иной свет, или Государство и империи Луны» *Сирано де Бержерака (1619–1655)*: «Было бы одинаково смешно думать, что это великое светило [солнце. — Т. А.] станет вращаться вокруг точки, до которой ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного цыпленка, что вокруг него вертелась печь» [*Ломоносов, VIII, 1124–1125; Сирано де Бержерак, 137*].

2) Другим возможным источником исследователи называют грамматику французского языка «*Nouvelle grammaire royale*» (Berlin, 1736) Жана Робера де Пеплие, приобретенную Ломоносовым еще в Марбурге, а позднее дважды рекомендованную им для занятий в русских гимназиях [*Рак, 217–219; Коровин, 320–321*]. Учебник грамматики был снабжен занимательными историями, предлагавшимися в качестве легкого чтения. Вероятно, основой ломоносовского стихотворения послужил сюжет одной из них:

«Когда некий молодой математик заявил в одной компании, что обращается солнце, а не земля, и хотел уйти, один насмешник ему сказал: «Сударь, задержитесь еще ненадолго, потому что я хочу доказать вам обратное тому, что вы утверждали. Вы знаете, что солнце дает жизнь всему на земле, все согревает и жарит». — «Согласен», — ответил математик. — «Следовательно, — продолжал тот, — обращается земля, а не солнце, потому что когда я жарю на вертеле куропатку, то вращается она, а не огонь». — «Это сравнение кажется правдоподобным, — ответил математик, — но очень далеко от того, что считают многие великие люди, а также от истины, и я могу назвать сотни ученых авторов, которые убедительно доказали справедливость этого мнения [об обращении солнца вокруг земли — В. Р.]». — «Может быть, — возразил насмешник, — но разве не справедливо, что истина находится в вине?» — «Думаю, что так», — отве-

тил математик. — «Тогда, — продолжал тот, — обращается земля, а не солнце, потому что если вы хорошенько напьетесь, то увидите, что земля вращается» [Рак, 218].

Ломоносовское стихотворение — любопытный образец научного анекдота на астрономическую тему, который, несмотря на то что имеет европейскую основу, во многом оригинален. Что меняет в анекдотическом прото-сюжете Ломоносов и к каким эффектам, поэтологическим и смысловым, это приводит? На наш взгляд, главное заимствование Ломоносова состоит в пафосе, типе речи, в самой возможности рассказать смешно о серьезном и, более того, использовать занимательную историю в качестве аргумента в защиту правильной научной концепции.

Интересно сравнить ломоносовское стихотворение именно с «историей» из учебника грамматики, имеющей форму диалога. Участников два — это некий молодой математик и насмешник, цель которого — запутать и высмеять молодого ученого. Безымянность героев диалога лишает их какой-либо национальной, временной или научной привязки.

Первая строка («Случились вместе два Астронома в пиру...») задает анекдотический формат стихотворения и подчеркивает незначительность происходящего: серьезность спора ученых сведена на бытовом уровне застольного разговора скорее всего в питейном заведении. Вторая строка обозначает конфликтность ситуации.

В третьей и четвертой строках излагаются противостоящие друг другу идеи гео- и гелиоцентризма, причем «астрономы» названы здесь безличностными именами «один» и «другой». Обе концепции мироздания уравнены Ломоносовым в праве на существование общим предикатом «твердил» в речи обоих ученых: «один твердил», «другой (твердил. — Т. А.), что». Для изложения обеих концепций Ломоносов пользуется одними и теми же лексико-грамматическими и ритмическими средствами, переводя время из прошедшего («случились», «твердил») в настоящее с сильной рифменной позицией глаголов, создающих иллюзию вечного, постоянного движения светил во Вселенной: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит» / «Солнце все с собой планеты водит».

Далее, в пятой строке, Ломоносов закрепляет идеи за их защитниками, присваивая имена «одному» и «другому» ученым: Коперник и Птолемей, что могло бы заставить читателя переосмыслить место и время происходящего. Греческий ученый II века и польский ученый XVI века оказываются в одном «пиру» и «жару» (уж не «разговор» ли это в «царстве мертвых?»). Научный спор решает «усмешка» повара, который принимает сторону Коперника, основываясь на здравом смысле и житейском опыте. Слова повара о том, что он разрешит спор, «на Солнце не бывав», вновь

отсылают к дилогии Сирано де Бержерака «Иной свет» («L'Autre monde»): «Государства и империи Луны» («Histoire comique des États et Empires de la Lune», 1650, опубл. в 1657) и «Государства и империи Солнца» («Histoire comique des États et Empires du Soleil», 1662), где от первого лица описано воображаемое путешествие на Солнце и жизненный уклад солнечных аборигенов.

Интенция Ломоносова заключается в том, чтобы утвердить очевидность научной истины с помощью житейского примера. Абстрактная гипотеза, противоречащая земному взгляду, наблюдениям с земли за небесными светилами, спроецирована на вполне конкретные предметы с теми же функциями: солнце — очаг, земля — жаркое.

Модель видимых земных отношений становится прообразом и аргументом в пользу научной абстракции. Спорили «в жару» и «очаг вертел вокруг жаркого» («земля, вертясь, круг солнца ходит») — повторы из первой «научной» части анекдота во второй «бытовой» создают эту лексическую игру, где победителем является научная правда и здравый смысл. Причем заканчивает Ломоносов не ответом, а риторическим вопросом повара, еще более повышающим градус очевидности гелиоцентрической концепции.

Стихи 277–280

*Потом Гугениц, Кеплэры и Невтоны
Преломленных лучей в Стекле познав законы,
Разумной подлинно уверили весь свет,
Коперник что учил, сомнения в том нет.*

Ломоносов приводит имена трех наиболее близких по времени и по интересам известных европейских ученых. Их достижения в разных науках: математике, физике, механике, — составляют огромные списки, но Ломоносову они нужны как защитники научной истины и главное — как ученые-астрономы, проводившие эксперименты в области оптики, изучавшие свойства преломления лучей через стекла и использовавшие эти достижения для наблюдения небесного свода.

Так, *Христиан Гюйгенс (1629–1695)*, по Ломоносову, «Гугений», голландский ученый, сумел самостоятельно улучшить телескоп, доведя его до девяностодвукратного увеличения, что позволило ему совершить открытия, невозможные ранее: кольца вокруг планеты Сатурн, туманность Ориона и др.

Немецкий ученый *Иоганн Кеплер (1571–1630)*, последовательный коперниканец, открыл три закона движения небесных тел, полно, точно

и просто объяснивших видимую неравномерность движения планет. Ему принадлежат знаменитые «Рудольфовы таблицы» (названы в честь чешского императора Рудольфа II) для вычисления движения планет, которыми пользовались астрономы и моряки вплоть до XIX века.

Сэр *Исаак Ньютон* (1643–1727), английский ученый (физик, математик, астроном), первооткрыватель закона всемирного тяготения, трех законов механики, интегрального и дифференциального исчисления, теории цвета и мн.др. Ему удалось создать зеркальный телескоп-рефлектор с сорокадвукратным увеличением отличного качества⁴⁰.

В «Письме» эти имена связаны с астрономическими открытиями и функционируют в качестве знаков, представляя научное сообщество и борцов за истину. Употребление их имен во множественном числе не делает их нарицательными, но лишает их персональной исключительности, как и в хрестоматийных строках из ломоносовской оды 1747 года о том, что «собственных Невтонов / И быстрых разумом Платонов» может родить российская земля. Сам же Ломоносов не хотел, чтобы его называли «Невтоном», потому что это будет снижать славу и Ломоносова, и России⁴¹.

Но именно так и произошло. После смерти Ломоносов попадает в список ученых гениев Нового времени, который он сам и составлял. Например, С. С. Бобров в стихотворении «Предчувственный отзыв века» предрекает появление «другого» Ломоносова, причем имена английских ученых (Ньютона и Локка) и российского ученых взаимозаменяемы:

Тогда питай сие предчувство,
<...>
Что в плоти серафим иной,
Иль Петр, иль Екатерина,
Другой Невтон, и Локк другой,
Или другой здесь Ломоносов
Торжественной стопою внидут
В врата Кумеинных времен...
[Бобров, I, 266]

⁴⁰ См. подробнее: [Веселовский. Гюйгенс; Белый Ю.; Еремеева, Цицин; Кирсанов; Вавилов; Карцев; Кобзарев; Кузнецов].

⁴¹ Кстати, в одном из писем к Шувалову Ломоносов свое «имя» ставит во множественном числе, желая России «много Ломоносовых». Интересна проблема номинации в различных жанровых текстах: поэтическая условность не позволяла введение собственного имени с нарицательным значением, в то время как в письме к меценату и куратору университета такое именование было уместным.

Тот же именной ряд использует в дидактической поэме «Сугубое блаженство» (1765) И. Ф. Богданович:

Являют чудеса Коперники, Невтоны,
И открывают нам предвечности устав;
Казалось естеству они дают законы
Порядок онаго нам точно предписав.
К познанию вещей чем кто стремился боле,
Тем лутче общую тот пользу мог найти:
Открылося тогда пространнейшее поле
И бесконечныя учения пути.
Познанья одного являя путь к другому,
Давало новыя понятию лучи
И сколько лъзя достигчь к познанию прямому,
Науки нас вели неведенья в ночи.

[Богданович, 14]

Не теми человек воззрел тогда очами
На свет, которому дивился прежде он,
Но просвещенныя умы наук лучами,
Открыли естества порядок и закон,
Открылося новое вселенной нам пространство
И обитание непроходимых мест,
Почувствовала вновь земля свое подданство,
Явило путь пловцам сиянье дальних звезд.
Стремленье волн морских им стало не ужасно,
К неслыханным местам им не был путь далек;
Искусству наших рук все стало быть подвластно,
И начал с пользою жить в свете человек.

[Богданович, 13]

**Не могу преминуть, чтобы не указать на метаморфозы мировоззрения Ипполита Федоровича Богдановича (1743–1803), знаменитого автора «забавной» «Душеньки» (1778–1783). Его поэтическая стезя начинается, как и у других российских авторов середины XVIII века, с торжественного философствования. Двадцатитрехлетний Богданович пишет большую — в пятьсот семьдесят восемь стихов — поэму «Сугубое блаженство», посвящая ее «Его / Императорскому / Высочеству / Государю Цесаревичу / и / Великому Князю / Павлу Петровичу / Всероссийскаго престола / наследнику / милостивейшему Государю». 19 апреля 1765 года Богданович поднес*

наследнику Павлу Петровичу свой политико-философский трактат в стихах. В трех песнях этого сочинения автор излагает свои взгляды на принципы государственного устройства, на происхождение неравенства, на соотношение первобытной древности и цивилизованной современности.

Точка зрения Богдановича по последнему вопросу отличается и от ломоносовских воззрений, и от взглядов его учителя в поэзии Хераскова: молодой поэт изображает первобытные времена как счастливейшее состояние человечества, в котором не было частной собственности и, как следствие, — людской зависти. Далее Богданович рисует развитие наук и цивилизации и также, как его старшие коллеги-поэты, спорит с философемой Ж. Ж. Руссо о дурном влиянии наук и цивилизации на человека. Политико-философской панацеей в решении социальных проблем автор «Сугубого блаженства» объявляет царскую власть, устанавливающую в обществе мир, согласие и законность.

Этот поэтический опыт не вызвал особого одобрения у современников; отклики были сухие и критичные. Позже Богданович сократил поэму почти вдвое (до двухсот девяноста двух стихов) и опубликовал в 1773 году в сборнике «Ли́ра» под названием «Поэма „Блаженство народов“, сочиненная в 1765 году». В переработанном варианте более всего представлен текст первой песни о первобытном блаженстве человека в «век невинности», в котором только и был счастлив человек, и отдельные фрагменты из второй и третьей песен. Богданович полностью исключил стихи, воспевающие науки и пользу наук в мире людей. Более того, он отказался от дидактико-философской манеры своего сочинительства и начал поиск нового поэтического пути. Через десять лет после выхода в свет «Сугубого блаженства» и многолетнего творческого затишья Богданович найдет то, что искал, и то, что сделает его бессмертным, — оригинальный поэтический почерк «Душенькиных походов» (1775).

Стихи 281–286

*Клеантов не боясь мы пишем все согласно,
Что истинне они противятся напрасно.
В безмерном углубя пространстве разум свой,
Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной,
Везде Божественну премудрость почитаем,
В благоговении весь дух свой погружаем.*

Клеанты — церковники, борющиеся за неприкосновенность библейского знания и выступающие против научно доказанной истины. Ломоно-

сов пишет о познавательном процессе как о путешествии разума. Научные открытия являются доказательством Величия Бога и основанием для еще большего восхищения им. Ломоносов уравнивает «открытия мысли» и «благоговения духа», пылливость ученого и христианское смирение перед Божьей премудростью. Верил или не верил в Бога Ломоносов? Вопрос, на который вряд ли можно ответить с достаточной убедительностью. Традиционно Ломоносова относят к деистам: под приставкой этого слова «де» («два») объединены две силы — Бог и Природа, слитые воедино.

Стихи 287–290

*Чудимся быстрине, чудимся тишине,
Что Бог устроил нам в безмерной глубине.
В ужасной скорости и купно быть в покое,
Кто чудо сотворит кромѣ Его такое?*

Бог выступает здесь в своей креативной функции: Он — устроитель и творец мироздания. «Быстрина»/«тишина», «скорость»/«покой» — противоположности, воплощающие представление о статике и динамике Земли. Ломоносов настойчиво проговаривает идею одновременного движения и покоя, помещая ее в необходимую религиозную рамку Божественного чуда. И это отнюдь не случайный выбор примера восхищения Божественной премудростью.

Идея движения и покоя планет-богов была важным контрапунктом в античном споре о Вселенной. Она же стала основой церковных гонений на Коперника, поскольку она противоречила Библии. Так, движение Земли в течение суток приписывалось Солнцу на основании некоторых мест из Священного Писания: «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Екклесиаст 1:5). В качестве аргумента в пользу идеи движения Солнца часто приводился библейский рассказ о Солнце, которому Господь в книге Иисуса Навина приказывает остановиться (Иисус Навин 10:12–13). Неподвижность Земли также обоснована святым словом Писания: «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки» (Псалом 103: 5).

Птолемеевы воззрения на систему мира хотя и устарели научно, но вполне устраивали христианскую церковь. Защитники передового гелиоцентризма вели борьбу по нескольким направлениям. Они настаивали на том, что Библия не могла включать научные объяснения явлений, сложных для восприятия простыми людьми. Уже в средние века появилась идея библей-

ского аллегоризма, согласно которой слова Библии нужно понимать не буквально, но метафорически. Кроме того, ученые, Галилей например, разделяя функции науки и религии: религия в лице церкви занимается вопросами морали, тем, как человеку достигнуть небес, а наука отвечает на вопросы о том, как эти небеса устроены.

Ломоносов идет по другому пути, поступая в этом пассаже очень дипломатично: желая согласовать библейское повествование с научными фактами, Ломоносов признает «видимый» покой Земли и одновременно «невидимое» ее движение. Сотворить такое явление, по Ломоносову, мог только Всевышний.

Стихи 291–297

*Нас больше таковы идеи веселят;
Как Божий некогда описывая град
Вечерний Августин душою веселился.
О коль великим он восторгом бы пленился,
Когдаб разумну тварь толь тесно не включал,
Под намиб жителей как здесь не отрицал,
Без Математики вселенной бы не мерил!*

«Вечерний», то есть западный, Августин, *Блаженный Августин (Аврелий Августин, 354–430)*, о котором идет речь в этих стихах, — едва ли не самая любопытная фигура в истории христианства, не поддающаяся однозначным оценкам: «отец западной церкви» vs. «хитрый церковный чиновник-карьерист», «беспринципный эклектик» [Баскин, 466–486]. В одном из своих поздних сочинений «О Граде Божием» («De civitate Dei») Августин отрицал существование антиподов (кн. XVI, гл. IX), то есть людей, живущих на другой, «нижней» стороне Земли.

**Не могу преминуть, чтобы не процитировать размышление Блаженного Августина об антиподах, которым посвящена в его книге отдельная, девятая глава шестнадцатой книги: «Тому же, что рассказывают, будто существуют антиподы, т. е. будто на противоположной стороне земли, где солнце восходит в ту пору, когда у нас заходит, люди ходят в противоположном нашим ногам направлении, нет никакого основания верить. Утверждающие это не ссылаются на какие-нибудь исторические сведения, а высказывают как предположение, основанное на том, что земля держится среди свода небесного и что мир имеет в ней в одно и то же время и самое низшее, и срединное место. Из этого они заключают, что и другая сторона земли, которая находится*

внизу, не может не служить местом человеческого обитания. Они не принимают во внимание, что, хотя бы и возможно было допустить или даже как-либо доказать, что фигура мира шарообразна и кругла, из этого еще не следует, что та часть земли свободна от воды; да если даже была бы и свободна, из этого отнюдь не следует, что там живут люди. Ибо никоим образом не может обманывать то Писание, которое удостоверяет действительность рассказываемых им событий прошлого исполнением на деле его предсказаний; а между тем, было бы крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту, и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека. Поэтому будем искать, если можем найти, в среде тех человеческих народов, которые представляются разделенными на семьдесят два племени и семьдесят два языка, этот странствующий на земле град Божий, который доведен до потопа и ковчега и дальнейшее существование которого в сыновьях Ноя указывается благословением их, особенно в лице самого старшего, называвшегося Симом: потому что и Иафет был благословен селиться в шатрах того же своего брата» [Августин, 788–789].

Несмотря на различное понимание мироустройства, «оппоненты» (Августин и Ломоносов), разделенные временем и пространством, объединены общим пафосом — пафосом восторга от созерцания и познания Божией премудрости. Кредо блаженного Августина — «Веруй, чтобы познать; познавай, чтобы верить» («*Crede ut intelligas; intellige ut credas*») — в полной мере соответствует и мировоззрению Ломоносова.

Попутно заметим, что в России в XVIII веке Блаженного Августина переводили и печатали неохотно: в середине века попытки издания его сочинений не приветствовались, а готовые тиражи не доходили до рядового читателя⁴². Первый, одобренный цензурой, перевод «Исповеди» Блаженного Августина появился лишь к концу столетия.

Стихи 311–314

*Во зрительных трубáх Стекло являет нам,
Колико дал Творец пространство небесам.
Толь много солнцев в них пылающих сияет,
Недвижных сколько звезд нам ясна ночь являет.*

В данных строках речь идет еще об одной актуальной научной концепции — концепции множественности миров, ставшей в России XVIII века

⁴² См. подробнее: [Уваров, 103–105].

предметом научных и религиозных споров. Эта идея обрела скандальную «историю» в доносах, изветах и запретах Святого Синода на печатание книг, содержащих упоминание или намеки на идею не-единственности Божьего мира. Сформировавшаяся в античной орфико-пифагорейской традиции идея множественности миров отразилась затем в космологическом учении итальянского монаха, философа и поэта *Джордано Бруно (1548–1600)* и в трактате французского ученого Нового времени Б. де Фонтенеля «*Entretiens sur la pluralité des mondes*» (Paris, 1686). В каждую эпоху она сохраняла некий постоянный абрис, но и обретала своеобразные черты⁴³.

Российская история этой идеи начинается с перевода А. Д. Кантемиром трактата «Разговор о множественности миров» Фонтенеля, сделанном в 1730 году и изданном в 1740 году под заглавием: «Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря, с французского перевел и потребными примечаниями изъяснил Князь Антиох Кантемир в Москве 1730 году». Французский ученый и писатель Нового времени *Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757)* в изящной и легкой форме разговоров, происходивших якобы по вечерам под открытым небом между автором и маркизой, ранее ничего не слышавшей о предмете, излагает собеседнице важнейшие сведения о земле, луне, планетах, неподвижных звездах и пр.

Выход книги, провозглашавшей еретический взгляд на Божий мир, не сразу был замечен Святейшим Синодом.

С конца 1740-х годов духовные цензоры, ратуя за чистоту православной веры, тщательно отслеживали все, что могло быть связано с «множеством миров, коперниковской системой» и «натурализмом» [*Котович, 1*]. Отношения тех, кто защищал величие Творца, и тех, кто пытался это величие научно познать, обострились в 1755 году после выхода в свет нового, учрежденного по ломоносовскому проекту академического журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». В нем Святейший Синод обнаружил произведения, «многие, а инде бесчисленные миры быти утверждающие, что и священному писанию и вере христианской крайне противно есть и многим неутвержденным душам причину к натурализму и безбожию подает» [*Ломоносов, VIII, 1061*].

Результатом цензурных расследований стало обращение Синода в декабре 1756 года к Елизавете Петровне с просьбой издать именной указ о конфискации отдельных номеров «Ежемесячных сочинений» и трактата Фон-

⁴³ Об истории становления идеи множественности миров от античности до XVII века см. подробнее: [*Визгин*].

тенеля в переводе А. Д. Кантемира. Данный «крестовый поход» против ученых и научного знания успехом не увенчался: именной указ издан не был. Однако Синоду удалось помешать печати другой книги, также содержащей «вере святой противные мнения», — перевода Н. Н. Поповского поэмы А. Поупа «Опыт о человеке». Основные претензии Святейшего Синода были связаны с тем, что «издатель [Поповский. — Т. А.] оныя книги ни из священного писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, також и мнения о множестве миров, священному писанию совсем не согласные» [Барсов, 124]⁴⁴.

Это распоряжение Синода задевало и Поповского, переведившего английскую поэму с французского подстрочника, и Ломоносова, курировавшего этот процесс, и Шувалова, хлопотавшего об опубликовании перевода Поповского. Лишь благодаря влиянию Шувалова три года спустя, в 1757 году, крамольная книга смогла появиться на свет, причем в заметно «отредактированном» виде.

Кстати, идея, ставшая своеобразным камнем преткновения в диалоге представителей церкви и ученых, звучала в сочинениях Ломоносова не единожды, не навлекая на поэта особых гонений. В знаменитом «Вечернем размышлении о Божием Величестве при случае великого северного сияния» (1743) Ломоносов, полемизируя с церковниками, прямо заявлял и о «множестве светов», и о «несчетных солнцах», и о том, что их наличие никоим образом не умаляет «славу божества»:

Уста премудрых нам гласят:
«Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы божества
Там равна сила естества».

[Ломоносов, VIII, 121]

Еще более откровенно идея не-единственности нашего мира явлена в комментируемых строках «Письма». Однако, насколько известно, у Ломоносова не возникло проблем с напечатанием поэмы со стороны духовной цензуры. Охранной грамотой данного сочинения и его автора, вероятнее всего, стало громкое имя адресата ломоносовского послания.

⁴⁴ См. также: [Райков, 262–288].

Стихи 316–318

*Земля с ходящею круг ней луной течет.
Которую хотя весьма пространну знаем,
Но к свету применив как точку представляем.*

Ломоносов вписывает Землю в модель мира и задает особый — все-ленский — масштаб, согласуясь с которым Земля предстает всего лишь «точкой» в бесконечности космоса. Это непривычный для земного наблюдателя мысленный взгляд из космоса на землю явлен во многих научных поэмах (топос «земли как точки»), например, в третьей эпистоле «Феоптии» Тредиаковского:

Мы множество зрим звезд; сим, в оке б разверстаться,
И больше солнца быть собой могло податься:
Те расстоят от нас в далекостях таких,
Что меры положить не можно есть до них.
Сих выше звезды зрим еще, хотя и мрачно,
Затем и различать не можем их удачно.
Пред всем, что зрим, земля есть точечка уже
И в ней с тем мер почти нет никаких ниже.
[Тредиаковский, 242]

Стихи 321–324

*О коль велика к нам щедрот его пучина,
Что на землю послал возлюбленного Сына!
Не погнушался Он на малой шар сотти,
Чтобы погибшаго страданием спасти.*

Появление образа Иисуса Христа в художественной картине мира Ломоносова — случай исключительный. Дело в том, что важнейшим и самым частотным библейским персонажем, стоящим во главе образной иерархии ломоносовской одической поэзии, является *Бог*. Христианской Троицы одический мир Ломоносова не знает. Имя Сына Божьего упоминается поэтом один раз в связи с историческим событием — крещением Руси князем Владимиром:

Владимир, превосходной верой,
Войной и миром исполнин,

Отмстив за брата равной мерой,
С Дунайских и до Камских вод
Вливает свет Христов в народ.

[Ломоносов, VIII, 747]

С Христом связывается понятие «истинной веры»; его образ лишен самостоятельного значения: он лишь подчеркивает историческую заслугу древнерусского князя. Имя Христа имплицитно подразумевает имя Перуна как верховного бога славянского пантеона, бога грозы и молнии. Перун — единственный персонаж славянской мифологии, который в единственном же употреблении встречается в одах Ломоносова. Слово «перун», достаточно частотное в одах поэта, используется только в переносном значении «молнии»/«стрелы». Верховный бог славянской мифологии упоминается в историческом экскурсе о введении христианства на Руси. Перун и Иисус Христос противопоставлены друг другу как олицетворения ложной («поганой», то есть языческой) и истинной (христианской) религий:

Ему Геройством равный сын

<...>

Счетав с любовью постоянство.

Густую разбивает тень;

На *Перуна* и на поганство

Ступив, восшедший кажет день.

[Ломоносов, VIII, 747]

Одический Бог предстает в нескольких ипостасях: Он — Творец Вселенной; Он — неусыпный наблюдатель земных дел и справедливый вершитель судеб государств и народов; Он — податель благ, защитник России, Он — гневный, карающий Бог (по отношению к врагам России).

В комментируемых стихах «Письма» предложена оригинальная концепция христианства, которую можно было бы назвать «космической». Закономерно, что в общих чертах стихи Ломоносова соответствуют церковному учению: Божий Сын своей добровольной жертвой спасает грешное человечество. Однако сюжет о появлении Спасителя в мире людей вписан во все-ленский масштаб, заданный предыдущими стихами о множестве миров. Согласно новой — космической — проекции появляются и новые смыслы: Бог-Демиург, сотворивший огромное количество миров и планет, необычайно милостив к обитателям Земли, ведь из всего множества «светов» Он почтил своим вниманием «малой шар» («не погнушался» размерами Земли!). Земная жизнь «возлюбленного Сына», в образе которого Бог сходит

на землю, теряет в такой трактовке свою протяженность во времени. Иисус Христос выглядит Божьим посланником, причем взрослым, который из космического пространства сходит на Землю и немедленно искушает своим страданием людские грехи.

Стихи 333–352

Хоть острым взором нас природа одарила;

Но близок онаго конец имеет сила:

<...>

Но в нынешних веках нам Микроскоп открыл.

Что Бог в невидимых животных сотворил!

Коль тонки члены их, составы, сердце, жилы,

И нервы, что хранят в себе животны силы!

Не меньше нежели в пучине тяжкий Кит

Нас малый червь частей сложением дивит.

Велик Создатель наш в огромности небесной!

Велик в строении червей, скудели тесной!

<...>

Коль много Микроскоп нам тайностей открыл

Невидимых частиц и тонких в теле жил!

В этом пассаже Ломоносов не только указывает на одну из областей применения стекла (микроскоп), но и презентует один из методов научного поиска — микроскопический метод, для российской науки новый и нуждающийся в обосновании и популяризации⁴⁵.

**Не могу преминуть, чтобы не предложить несколько примеров, демонстрирующих удивление людей XVIII века, открывающих для себя микроскопический мир.*

В 1740 году в переводе «Разговоров» Фонтенеля А. Д. Кантемир писал о недоступных человеческому глазу организмах: «...ибо не представляете себе, что мы видим всех животных, населяющих землю; нет, верно есть еще столько же родов невидимых, сколько известных — мы видим только от слона до одноглаза и тут оканчивается наше зрение. Но от одноглаза начинается бесчисленное множество животных, в рассуждении которых оное насекомое есть слон по величине своей и мы их без помощи стекол рассмотреть никак не можем».

⁴⁵ См. подробнее: [Соболь].

Впервые на русском языке было объявлено о целых микроскопических мирах, не менее сложно устроенных, чем система Вселенной: «Посредством микроскопа открыли уж, что малейшие капли дождя, уксуса и других ликеров наполнены или маленькими рыбками, или змейками, которые даже и подозревать тут было невозможно. — А теперь уже некоторые философы утверждают, что и вкус оных жидкостей ничто иное, как уязвление сих животных в наш язык. — Каждый лист на дереве есть маленький мир, обитаемый невидимыми животными, коим он кажется неизмеримым пространством: они находят в нем горы, пропасти, и сии крошечные животные точно также далеки от сообщения с подобными себе животными, населяющими другую сторону листа...» [*Кантемир. Разговор о множестве миров*, 102–104].

В оригинальном сочинении «Письма о природе и человеке» Кантемир также повторяет эти идеи, удивляясь совершенству природных созданий и человеческому уму, его постигающему: «...не меньше ум человеческий во удивление приводят самая малейшая существа и сотворения; не меньше безконечности в малых тех тварях и вещах, тако которое не постижно в маленькой мошке, то же сыщешь, что в слоне и в ките: голова, ноги, тело и внутренняя части, жилы, кишки, кровь, дух, животная части, в которых особливая капли от разных частей соединены так, что все сие в бездну человеческую мысль уводит. Чрез помощь микроскопа находим мы тысячу объектов, которые взор не может постигнуть, сколько в каждом объекте других объектов, которых микроскоп представить не может. Что бы мы еще увидели, ежели бы могли только в самую последнюю тонкость привести инструменты те, кои помогают грубому и слабому нашему взору <...>» [*Кантемир*, II, 43–44].

Профессор натуральной истории Академии наук *Степан Петрович Крашенинников (1711–1755)* в академическом собрании торжественно вещал о сложностях в познании «премудрости Божией» и о пользе микроскопического метода в этом процессе: «...ибо представим себе животное, которое увеличительными стеклами усматривают, и которое составляет тысячную часть того пункта, до которого наше зрение простирается: рассудим, что когда оно живет то имеет и все потребности к житию, так и к удовольствию» [*Крашенинников*, 80].

***Не могу преминуть, чтобы не вспомнить о талантливом поэте, считавшем себя учеником Ломоносова, о Михаиле Никитиче Муравьеве (1757–1807) и о методах философствования этих ученых поэтов.*

В научных и литературных трудах Ломоносов пытается примирить материалистический и идеалистический взгляды на мир, породив тем самым «академическую религиозность» (определение Л. В. Пумпянского). Он разрабатывает способ философствования, который на некоторое время

станет приоритетным «методом» в русской культуре XVIII века. Традиционно этот метод миропостижения именуют *научно-религиозным*: научные открытия не противоречат идее божественного творения мира, более того, они предоставляют доказательства существования Бога, тем самым прославляя гениальность «архитектора мира».

Неразделенность науки и искусства и научно-религиозное миропонимание инициируют появление литературного воплощения научно-религиозного философствования — подобного рода лирики. Слагая стихи, Ломоносов формулирует свои представления о мироустройстве в «Утреннем размышлении о Божием величестве», «Вечернем размышлении о Божием величестве», в комментируемом «Письме», стихотворениях, помещенных в научные трактаты. Стихотворное философствование имеет три главные составляющие: 1) рассмотрение и описание природного явления; 2) попытку его научного объяснения и 3) прославление Творца, мудро устроившего этот мир.

Научно-религиозное натурфилософствование в одной из своих форм — поэтической — имело и ограниченный срок жизни, и ограниченную художественную (не мировоззренческую) значимость для дальнейшего развития литературы. Г. А. Гуковский пишет: «...молодые ученики классиков и дворянских либералов, начиная с середины 1770-х годов, отказываются от традиций своих учителей, ищут новых путей в отходе от политики, от классицизма, от объективного мировоззрения. Теоретиком этого идейного сдвига явился Михаил Никитич Муравьев, писавший лирические стихотворения неопределенных жанров и часто столь же лирические статьи и очерки» [Гуковский. *Русская литература XVIII века*, 264]. Однако, по нашему мнению, речь должна идти не об «отказе» и не «отходе», а о качественном изменении мировоззренческой и поэтической картины мира, в том числе «метода» натурфилософии.

Муравьев определяет способ философствования Ломоносова так: «Гражданин мира размышлением, он наслаждался рассмотрением великолепного его строения и посреди всех способов, которые доставило себе проникание человеческого разума, вопрошал природу о причине чудесных ее явлений с сим страстным восхищением, которое существует только для любителя мудрости» [Муравьев, II, 300-306]. Муравьевский комплимент, аналитический по своей сути, содержит самые яркие, знаковые черты изысканий и мировоззрения Ломоносова: наслаждение, рассмотрение мира, проникание разума, вопрошание природы о причинах явлений, восхищение, любовь к мудрости. Словами «наслаждается рассмотрением» Муравьев приписывает Ломоносову чувства, испытываемые и им самим.

Когда в своих похвалах Муравьев решает сосредоточиться на одной стороне деятельности Ломоносова, которой «наиболее восхищается душа»

его, то он выбирает «божественное стихотворство»: «Мне мнится, восхищаюсь я даже до выпренных небес, <...> от востока до запада солнца вижу я простирающиеся огненные бразды и прелетающие в единое мгновение пространство воздушных. <...> Я слышу бессмертного Ломоносова, гласящего в старости своей: внемлите все пределы света и ведайте, что может Бог» [разрядка текста М. Н. Муравьева. — Т. А.] [Муравьев. *Похвальное слово*, 38]. Муравьев строит свою похвалу с опорой на особенности поэзии и способа мирозерцания Ломоносова: подняться до небес, познать природу и тем самым прославить Бога. Описание же солнца («огненные бразды») — аллюзия на «Утреннее размышление».

Однако в собственных поэтических опытах Муравьева нет места научно-религиозному дискурсу в том глубоко научном и одновременно поэтически восторженном виде, в котором он присутствует в творчестве Ломоносова. Муравьев «вошел в русскую литературу, когда впервые обозначилось «новое» чувство природы» [Топоров, 437], связанное с наслаждением ею, в частности восходом или закатом солнца:

Прекрасной всход зари
Всегда поутру зри,
Чтоб утром наслаждаться,
Как сходит мрачна тень
И возвещает день
Природе пробуждаться.

[Муравьев. *Стихотворения*, 142]

Кажется, и рифма (тьень/день), и поэтические формулы («мрачна тень», «прекрасной всход зари») восходят к ломоносовскому натурфилософскому дискурсу, но Муравьев и в прямом, и в переносном смыслах «приземляет» этот способ рефлексии. Его цель не познание, а наслаждение, его интерес сосредоточен не на причинах явления, а на самом процессе. Ломоносовские и муравьевские «как» находятся в разных семантических полях. Ломоносовский вопрос «Как может быть, чтоб мерзлый пар / Среди зимы рождал пожар?» означает: «почему?» и «отчего?». Муравьевское «как» задает описательность вместо научного поиска, разворачивается на земле, где смоченный росой цветочек «вздывается с земли» и уже стада гонят «украшены венками пастушки с пастухами» [Муравьев. *Стихотворения*, 142]. Но натурфилософские научные открытия Ломоносова оказываются востребованными и в эстетствующей рефлексии Муравьева, правда, в новом качестве. Обратимся к одному из известных муравьевских стихотворений «Зрение» (1776–1785?).

Его первые строки являют собой одновременно и развитие, и разработку ломоносовского способа натурфилософствования, а также спор с ним. Если Ломоносов рисует в «Утреннем» и «Вечернем» «размышлениях» желаемую картину, используя при этом сослагательное наклонение («когда бы»), то Муравьев воспринимает эти открытия Ломоносова как данность и утверждает их как реально существующие. Сравним:

Чудясь ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!

Когда бы смертным толь *высоко*
Возможно было *возлететь*,
Чтоб к солнцу наше бренно *око*
Могло, приблизившись воззреть, <...>
Звездам *числа нет*, бездне дна <...>
Несчетны солнца там горят...

[Ломоносов, VIII, 117, 120, 121]

О превосходное души орудье, *Око*,
Благословенно будь! Ты *взносишься высоко*
Над тучи, коими одеты небеса,
Испытывать творца *несчетны чудеса*.

[Муравьев. Стихотворения, 160]

Фонтенелева идея множественности миров, уже устоявшаяся в философском и обработанная в поэтическом дискурсах, идея бесконечности вселенной и соответственно бесконечности ее научного познания в последней трети XVIII века утратили свою первоначальную новизну и «сногшибательность», превратившись в общепринятую деталь картины мира.

Следующие строки муравьевского стихотворения отсылают нас к «Письму о пользе Стекла» Ломоносова. Если в «Письме» его автор возвеличивает приборы (микроскоп и телескоп), помогающие преодолеть ограниченные возможности человеческого зрения, то Муравьев приписывает эту способность «зреть» малое и великое самому человеку. Ср.:

Во зрительных трубах Стекло являет нам,
Колико дал Творец пространство небесам.
<...>

Хоть острым *взором* нас природа одарила,
Но близок оного конец имеет сила. <...>
Но в нынешних веках нам Микроскоп открыл,
Что Бог в невидимых животных сотворил!
<...>

Нас малый *червь* частей сложением дивит.
Велик создатель наш в *огромности* небесной!
Велик в строении *червей*, скудели тесной!

[Ломоносов, VIII, 515, 518, 519]

Не кроется Сатурн в небесной синеве,
И слабый *червячок*, ползущий

по траве,
Ты зришь в *огромности*, ты зришь
природу в *малом*,

Равно сияющу премудрости началом.
[Муравьев, Стихотворения, 160]

Отметим, что эти реминисценции интересуют нас не как муравьевское переложение ломоносовских стихов и не с точки зрения изменения поэтики (например, «малый червь» под микроскопом у Ломоносова / «слабый червячок, ползущий по траве» у Муравьева). Важно то, что, прежде чем рассказать об идеальном понимании зрения, о том, что все «души сокрытые движенья / Особые в очах находят выраженья», Муравьев создает натурфилософскую картину в ломоносовском духе.

Уже в первой строке стихотворения Муравьев заявляет, что «око»/«очи» — «орудие души» (а не инструмент познания, как у Ломоносова). Однако рассуждение в «Письме» об ослабленном зрении в старости и о преодолении этой природной закономерности с помощью стекла (очков) звучит и в муравьевском размышлении:

По долговременном теченьи наших дней Тупеет <i>зрение</i> ослабленных очей. Померкшее того не представляет чувство, Что кажет в тонкостях натура и искусство. <i>Велика</i> сердцу <i>скорбь</i> лишиться чтенья книг; Скучнее <i>вечной тьмы</i> , <i>тяжелее</i> вериг! Тогда противен день, веселие досада! Одно лишь нам Стекло в сей бедности отрада. Оно способствием <i>искусныя руки</i> Подать нам <i>зрение</i> умеет чрез очки! Не <i>дар</i> ли мы в Стекле божественный имеем...	Коль многих радостей лишиться суждены Те, кои в <i>вечну ночь</i> , живя погружены! Которых <i>тяжка скорбь</i> зеницы погасила. Не зрят они лучей всходящего светила, Ни зелени лугов, ни розы багреца, Ни, смертный, твоего величия лица. <...> Но если <i>зрения</i> толь <i>тягостно</i> лишенье, Какой <i>небесный дар</i> внезапное прозреньё! Надежная <i>рука искусного врача</i> , Орудием плену со глаза совлача, Рожденному слепцу природы вид дарует.
[Ломоносов, VIII, 515]	[Муравьев. Стихотворения, 161–162]

Сопоставление этих двух отрывков приводит к следующим выводам. Муравьев разворачивает ломоносовские строки «Померкшее того не представляет чувство, / Что кажет в тонкостях натура и искусство»: он перечисляет и расцветчивает те «тонкости природы», о которых писал Ломоносов («зелень лугов», «розы багрец»). Если Ломоносов пишет о закономерном процессе старения и о преодолении его с помощью природного материала и искусства науки, то Муравьева среди этих закономерностей природы интересует исключительное явление природы («рожденный слепец») и исключительное спасение («внезапное прозреньё»), совер-

шенное «искусным врачом»⁴⁶. И Ломоносов, и Муравьев восхищаются научным прогрессом и признают его полезность в мире людей, но выводы, к которым приходят поэты, разнятся. Ломоносов воспринимает зрение как инструмент познания (исследование природы, чтение книг), Муравьев осознает прозрение как возвращение к природе («рожденному слепцу природы вид дарует»), как инструмент наслаждения природой. Однако и это наблюдение не является для нас главным.

В муравьевском стихотворении акцентируется духовная, идеальная область, ибо забота невесты исцеляет героя от вернувшейся тьмы. Финальная строка стихотворения: «Благодаря любви он видит совершенно» — не отменяет искусство науки, но включает в эту научно-прагматическую картину мира человеческие чувства как важный элемент.

Ломоносовская натурфилософия с ее космическим масштабом и восторженным пафосом не отменяется. Эта философическая рама, во многом созданная научными открытиями и поэтическим талантом Ломоносова, имеет свои маркеры и функционирует благодаря знаковым словам-образам. Приведем несколько примеров.

В стихотворении «Видение», преромантическом по своему характеру, герой видит «сны легкие» о прекрасной стране поэтов, которые спорят о «древних и новых», об идее Гения, — и все же эта картина вписывается Муравьевым в космический масштаб: «сны легкие» герой видит, когда «солнечны лучи *вселенну* освещали» [Муравьев. Стихотворения, 189].

У Муравьева, сосредоточенного на жизни сердца и души, научный и чувственный дискурсы иногда совпадают в моменте переживания. И тогда псалмодическая формула «Блажен, кто...» соединяется с «поэтикой сладости» (определение Г. А. Гуковского) и ломоносовским пафосом научного постижения Вселенной, как, например, в послании «К Хемницеру»:

Блажен, кто лишь зарей поутру пробуждаем <...>
Входяще солнце зрит! <...>
Примите Вы меня тогда, сладчайши Музы!
И дайте существа проникнуть мне союзы:
Природы вечну связь:
Какою склонностью миры одушевленны
К горящим солнцам их согласно устремленны,
Колеблются, катясь.

[Муравьев. Стихотворения, 154]

⁴⁶ В 1785 году в Лондоне врачом Грантом была проведена операция, в результате которой было возвращено зрение слепцу. При проведении операции присутствовали родные слепца и его невеста [Топоров, 543].

Здесь следует отметить, что темы и мотивы поэзии Муравьева во многом перекликаются с его прозаическими опытами. Черты научно-религиозного мирозерцания встречаем в прозе Муравьева в форме пересказывания эпизодов из стихотворений Ломоносова. Ломоносовское натурфилософствование, потерявшее свою гносеологическую актуальность, превратилось в «постнауку» и стало функционировать в других дискурсах в ином качестве — не как способ философствования, проникновения в тайны природы, а как прием изложения.

На наш взгляд, идея бесконечности в ее пространственном (Вселенная, множество миров, звездная бездна и бесконечность в малом), временном (вечность), количественном (несчетны солнца, несчетны чудеса Бога), гносеологическом (бесконечность познания), прагматическом (бесконечность прогресса) и других воплощениях, принятая и устоявшаяся, должна была, во-первых, быть спроецирована на человека и, во-вторых, породить к жизни свою диалектическую половину — идею конечности в разных ее вариантах. Каким образом идея бесконечности могла быть осознана в связи с человеком? Единственно возможный ответ — бессмертие души. Именно душа человеческая может быть вписана в эту картину бесконечного мира. Идея конечности инициирует внимание к частностям, к деталям, к мгновению.

В «Обитателе предместья» в записи «№ 3. Пятница. 23 августа 1790» муравьевский герой вспоминает один из разговоров со своим наставником. «Кроткий» Иланов размышляет о Вселенной и о «солнцах, которые светят другим мирам»: «Не взирай никогда хладнокровно на благодеяния Божии. Все, что окружает тебя, ты сам, твоя *безсмертная* душа, — все носит на себе священное напечатление Его могущества и благости. Сия былинка, теперь толь свежая и которая завянет завтра, и сие подъемлющееся светило ночи — сребровидный месяц, единым словом Его получили бытие свое. Пройди взором необъятныя пустыни неба: оне усеяны солнцами, которыя другим мирам светят. Другия земли привлекаются и тяготееют к ним; и шар сей, на котором мыслящие существа проводят краткую жизнь, становится точкою в чине природы» [Муравьев, I, 81]. И у Ломоносова в «Письме»: «Круг солнца нашего среди других планет, / Земля с ходящею круг ней луной течет, / Которую хотя весьма пространну знаем, / Но к свету применив, как точку представляем» [Ломоносов, VIII, 518].

Иланов излагает гелиоцентрическое учение и сообщает о наблюдении Венеры: «Испытатель естества вознесся на крылах наблюдения и написал чертеж системы мира. <...> Видишь сие блистающее светило? Это Венера. Она странствует так же, как Земля, блистая заемным

светом» [Муравьев, I, 82]. Учитель проповедует и испытание естества, и наблюдение природы, однако «чертеж системы мира» уже создан, а бесконечность познать невозможно: «Око астронома не постигнет всех миров; но сердце благодарное и незлобивое полагает пределы любопытству благоговением, и восхищается премудростию Божью в самое то время, когда признает свое невежество и слабость» [Муравьев, I, 82].

Научно-религиозный дискурс теряет у Муравьева гносеологическую направленность и обретает этическую и эстетическую функции. Кроме того, созерцание природы у Муравьева включает еще одну черту — литературность этого философствования. В «Эмилиевых письмах» герой наслаждается «рассматриванием» природы, размышлением и чтением: «Я сравниваю зрелище природы с теми восхитительными списками оной, которые оставили нам древние. Гомер, Виргилий, Гораций препровождают меня на возвышенный холм или в приятную долину, где сверкает студеной источник» [Муравьев, I, 121]. Муравьев в эссе и его герои в повестях-очерках наблюдают природу в разных ее проявлениях, в ее изменениях. Муравьевское натурфилософствование включает литературное «сопровождение», которое подсказывает способ восприятия, а также попытки запечатлеть эти наблюдения в слове, причем запечатлеть то, что находится рядом, не используя «крылья наблюдения», запечатлеть в слове прозаическом.

Натурфилософские открытия Ломоносова и рассказы о них на «языке богов» явились тем основанием, на котором, эмансипируясь друг от друга, продолжили свое развитие собственно естественнонаучные изыскания и литературное философствование. Поэтическое натурфилософствование постломоносовского периода не откачивается от его научной составляющей: космология составляет матрицу поэтического и философского сознания, внутри которой и развивается познание мира. Гносеологическая функция, актуальная для Ломоносова-ученого, сменяется этической и эстетической функциями в поэзии и в прозе Муравьева. Представление о бесконечности мироздания и соответственно идея бесконечности научного поиска не отвергается, а наоборот, принимается, и, как следствие этого, происходит переключение внимания на конечное и близкое. Научное восхищенное рассматривание природы сменяется эстетствующим ее созерцанием у Муравьева, происходящее, однако, в «границах» бесконечной вселенной, обозначенных натурфилософией Ломоносова.

Стихи 360–365

*Чрез тож откроется в погодах разность сил.
Коль могут щастливы селяне быть оттоле,
Когда не будет зной ни дождь опасен в поле?
Какой способности ждать должно кораблям
Узнав когда шуметь или молчать волнам,
И плавать по морю безбедно и спокойно!*

В «Письме» Стекло выступает в качестве причины счастья людей: изобретение искусственного стекла обеспечило «житие на свете нам *счастливо*». «Житие счастливо» — это то общественное счастье, которое, по Ломоносову, обеспечивается техническим прогрессом, такими, в частности, изобретениями, как стеклянная посуда, стеклянные пузырьки для лекарств, научные «предсказатели» погоды (барометры)⁴⁷.

Ломоносовские строки тематически близки стихам из поэмы «Плоды наук» (1761) М. М. Хераскова:

Когда через моря стремятся корабли,
На камни бы они, или на мель текли,
Когдаб через свою великую науку
Нам Астрономия не подавала руку:
Не знали бы тогда течения небес,
И Божьих в мире сем не ведали чудес.
[Херасков, 260]

** Не могу преминуть, чтобы не сказать несколько слов о цитированной выше дидактической поэме и об ее авторе, заметном деятеле русского Просвещения Михаиле Матвеевиче Хераскове (1733–1807). В годы учебы в лучшем учебном заведении того времени — в «Рыцарской Академии», как тогда называли Сухопутный шляхетный корпус, — Херасков вхож в литературный салон князя Никиты Юрьевича Трубецкого (1699–1767), того самого, которому А. Д. Кантемир посвятил ряд своих произведений (к примеру, Сатиру VII «О воспитании. К князю Никите Юрьевичу Трубецкому»), называя его «Никито, друг». Молодой Херасков принимает участие и в литературных кружках, душой которых был А. П. Сумароков. Юношеские увлечения Хераскова определили его жизненный и творческий путь.*

⁴⁷ См. наш комментарий к Стихам 360–365, 437–438.

У молодого Хераскова были связи при дворе, и он мог сделать блестящую военную карьеру. Однако он отворачивается от Марса и посвящает себя Музам, оставив после трех лет службы полк и поступив на службу в Московский университет на должность ассесора. В его ведении находились типография, библиотека и театр Университета. С 1758 года ему поручают заведование синодальной типографией, а с 1761 года он выполняет обязанности директора Университета. С 1763 года Херасков официально назначен на эту должность, и остается в ней до 1770 года.

«Плоды наук» (1761) — первая среди десяти поэм Хераскова. Она в полной мере отражает и просветительский дух эпохи, и собственно просветительскую позицию Хераскова. Вероятно, данная поэма явилась поэтическим откликом русского поэта на диссертацию Ж. Ж. Руссо «Рассуждение на тему, предложенную Дижонской академией: способствовало ли улучшению нравов возрождение наук и искусств» («Discours sur les arts et les sciences», 1750). Основная идея трактата сводилась к тому, что цивилизация приводит к моральной и физической порче человечества, плоды прогресса развращают людей и делают их слабыми. Радикальная хула прогресса со стороны французского мыслителя спровоцировала такой же радикальный ответ российского поэта, включивший два положения: во-первых, осуждение дикости и варварства первобытных народов, и, во-вторых, апологию современных наук (географии, астрономии, математики, теологии, истории и др.). Хераскову очевиден и ответ на вопрос о соотношении религиозного знания и научных открытий: Бог велик, и науки помогают это величие познать. Эти интенции Хераскова совпадают с главными идеями Ломоносова, воплощенными в «Письме».

Однако Херасков в данном ракурсе интересен не только как еще один поэт, представивший еще один образец научно-дидактической поэмы того времени. Любопытно другое: примерно через тридцать лет, вероятно, под влиянием масонского опыта и социальных потрясений (Пугачевского бунта, Французской революции) Херасков отречется от своей веры в науку. У научно-апологетической поэмы «Плоды наук» появится антипод — религиозно-апологетическая поэма «Вселенная, мир духовный» (1790), в которой рассудок и «умствования» будут объявлены разрушительными для человека силами, а процесс познания — дерзостью смертных:

Но к небу возлетать кто дерзость дал уму,
Который погружен в вещественную тьму,
Как может временность постигнуть мыслью вечность?
Пылинка может ли измерить безконечность?

И странствуя во тьме, вне света, вне отца,
Удобноль постигать творению Творца?

[Херасков. Творения, 21]

Эти ломоносовские строки об освобождении «селян» от капризов природы и мореплавателей от опасностей стихии являются своеобразной репликой на второй катрен Горация из упомянутой выше оды к богине Фортуне:

Крестьянин бедный; вод госпожу, тебѣ
Зовет и тот, кто кораблями
Бурное море дразнить дерзает.

[Гораций, 66]

В заключительной части послания Ломоносов мастерски играет одическими топосами мифологии государственной и мифологии творчества, вплетая отточенные формулы (например, «златые времена» и «народу своему прощает миллионы»⁴⁸) в новые актуальные контексты⁴⁹.

*** Не могу преминуть, чтобы не* рассказать о том, как Ломоносов стал воплощением одного из вариантов земного счастья в художественной концепции счастья русского писателя XX века *Марка Алданова (1886–1957)* — в повести «Пуншевая водка»⁵⁰. Время действия — XVIII век. Подзаголовок повести — «Сказка о всех пяти земных счастьях» — задает философский ракурс прочтения текста. У каждого из героев, исторических и вымышленных, свое счастье.

Царский курьер Михайлов счастлив тем, что на деньги, подаренные ему графом Минихом, некоторое время может пожить «по-господски» и, кроме всех прочих благ, каждый день пить пуншевую водку⁵¹. Для семнадцатилет-

⁴⁸ См. наш комментарий к Стихам 421–422.

⁴⁹ См. наш комментарий к Стихам 437–438.

⁵⁰ Повесть «Пуншевая водка» М. Алданова была опубликована в журнале «Русские записки» (Париж, 1938, № 7–9), а затем вошла в книгу «Пуншевая водка. Могила воина» (Париж, 1940).

⁵¹ В России XVIII века пуншевая водка была популярным напитком, удостоенным поэтического воспевания *Павлом Павловичем Икозовым (1760–1811)*, сочинившим «Письмо похвальное пуншу к господину Н... писанное от приятеля его в стихах» (СПб., 1789). Предполагаемый адресат этого послания — поэт *Семен Сергеевич Бобров*.

Вспомним также строки из петербургской повести «Медный всадник» А. С. Пушкина: «А в час пирушки холостой / Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой».

ней Вали, дочери пельимского генерала, счастье заключено в любовной тоске по самому красивому юноше в городе Володе Кривцову.

Масштаб и глубина личности, по мнению М. Алданова, определяют и саму специфику счастья. Еще одно счастье — военное счастье «великого мужа». Граф *Буркхарт Христовор фон Миних (1683–1767)*, известный в России как Христовор Антонович Миних, генерал-фельдмаршал, в полной мере испытывавший на себе хрупкость счастья («*Fortuna vitrea est!*»), или, как писал Ломоносов, «ломкость лживого счастья». Добившийся успеха при нескольких европейских дворах, в том числе и при российском, граф Миних был приговорен к четвертованию, затем помилован и послан по приказу Елизаветы Петровны в Сибирь, где и провел двадцать лет ее царствования. После восшествия на престол Петра III Миних был возвращен ко двору с прежними регалиями и званиями. Фельдмаршалу автор отдает следующее размышление о счастье: «...вечером долго думал в крепости о натуре счастья, и были у него странные мысли, которых теперь не мог восстановить с ясностью. Думал, что в жизни всякого государственного мужа есть или может быть — или должна быть? — катастрофа: гибель, тюрьма, казнь — все равно, какая <...>. Я высшее счастье в жизни испытал над горой трупов в день Ставучанской битвы, и еще в ночь переворота, удавшегося мне благодаря коварству, и вот в этот день, когда меня должны были четвертовать... Оттого, что не четвертовали? От торжества и волнения» [Алданов, II, 483–484]. Генерал ценит мгновения не только самых славных побед, но и моменты наивысшего напряжения сил — победу над судьбой и над собой.

Два других варианта земного счастья также представлены судьбами исторических лиц, но не военных, а ученых. Профессор Яков Яковлевич Штелин, незлобивый и на редкость услужливый, чрезвычайно благожелательный, испытывает счастье от честно и небесталанно выполняемой работы и тихого семейного благополучия: «Нужно лишь ладить с людьми, <...> держаться подальше от безрассудных дел, не злить других, не забывать себя, да еще изредка говорить и писать условные, ничего в сущности не значащие, слова, вроде того, что Нева, Москва и все реки текут радостно в золотые наши веки. <...> Проживешь свой век честно, без крови и без грязи, без Пелыма и без эшафотов. Это и есть тайна земного счастья» [Алданов, II, 492–493]. Ему, приятелю и коллеге Ломоносова, оказались доступны радости службы и радости дружбы.

Ломоносовское счастье, по Марку Аладанову, — совсем другое! Его беспокойное пытливые счастье заключено в бесконечном процессе исследования неизмеримой обширности мира: «... мешало заснуть то обилие мыслей, которое составляло и радость, и гордость, и несчастье его

жизни» [Алданов, II, 448]. Страсть к науке и радение о пользе Отечества не позволили Ломоносову испытать удовольствие от тихого благополучия: «...вся его жизнь ему казалось полной мук и горя, но было в ней несколько мгновений счастья, недоступного обыкновенным людям» [Алданов, II, 501].

Стихи 373–387

*Что может смертным быть ужаснее удара,
С которым молния из облак блещет яра?
Услышав в темноте внезапной треск и шум
И видя быстрый блеск, мятется слабый ум;
От гневного часа желает гдеб укрыться;
Причины онаго исследовать страшится.
Дабы истолковать что молния и гром,
Такия мысли все считает он грехом.
На бичь, он говорит, я посмотреть не смею,
Когда грозит Отец нам яростью своею.
Но как Он нас казнит, подняв в пучине вал,
То грех ли то сказать, что ветром Он нагнал?
Когда в Египте хлеб довольный не родился,
То грех ли то сказать, что Нил там не разлился?
Подобно надлежит о громе разсуждать.*

Боязнь грома как символ суеверия — общее место в дидактической поэзии начиная с поэмы «О природе вещей» римского поэта и философа *Тита Лукреция Кара* (ок. 99–55 до н.э.)⁵². Так, Лукреций пишет:

*Иль у кого же тогда не спирает дыхания ужас
Пред божеством, у кого не сжимаются члены в испуге,
Как содрогнется земля, опаленная страшным ударом
Молнии, а небо кругом огласят громовые раскаты?
[Лукреций, 192]*

Ломоносов читал Лукреция: русский поэт-ученый ссылается на своего римского коллегу в «Риторике» 1744 года [Ломоносов, VII, 63]. Генезис этого топоса, наверное, можно начинать с Лукреция, но для XVIII века «гром и молния» — это и актуальная научная проблема. Ломоносов

⁵² См. подробнее: [Осват].

утверждает принцип научности, не устраняя при этом Бога—отца и находя компромисс между религиозным восприятием мира и научным поиском причин сущего.

Интересно сравнить стихи Ломоносова со строками из «Феоптии» Тредиаковского, в которых доказательствами воли Божией и мудрого мироустройства и одновременно их рациональным объяснением служат схожие примеры:

1) разлив Нила и плодородие его берегов —

Египетскому кто так Нилу повелел,
Чтоб разливался он в назначенный предел?
И на землях, собой там омоченных, тину
По стоке в берега тот оставлял едину?
Строения сего что может дивней быть,
Бесплодием везде дабы землям не нить?
[Тредиаковский, 221–222]

2) морские бури как следствия сильных ветров —

Волнений всех морских не можно уж сравнить
С дыханием от бурь, ни к сим тех применить:
Волнение в марях есть следствие ветров сильных
И наглых тех погод и вихрей неумильных.
[Тредиаковский, 225]

В этих картинах природы, синтезирующих научный и теологический взгляды на мир, Ломоносов и Тредиаковский в унисон поют науку о Боге, о сотворенном им мире и науку, объясняющую божье великое строение.

** Не могу преминуть, чтобы не сказать о цитированной выше научной поэме, тоже сориентированной на античные и современные европейские образцы жанра, но с ломоносовским посланием связанной и единым просветительским порывом, пропагандой передового знания, и пафосом литературного соперничества. Речь идет о научно-метафизической поэме Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–1769) — «Феоптия». Тредиаковский начинает работу над поэмой в 1750 году, то есть раньше, чем Ломоносов создает свое «Письмо», и заканчивает к 1754 году, когда ломоносовская поэма уже вышла в свет и получила признание в обществе. Научное стихотворство Тредиаковского и Ломоносова в начале 1750-х годов*

выглядит еще одним жизненным и творческим совпадением двух первых российских ученых, а также приметой времени, когда знание о мире гармонично укладывается в ямбические строки с парными созвучиями. Обе поэмы были втянуты в борьбу научного знания с религиозным ханжеством и суеверием. Правда, в истории культуры у них оказались разные судьбы.

Если «Письмо о пользе Стекла» увидело свет почти сразу же после написания, то участь «Феоптии» оказалась сродни судьбе ее автора, такой же неудачной, если не сказать, драматичной. В феврале 1755 года рукопись Тредиаковского прошла Духовную цензуру, не усмотревшую в ней крамольных идей, «никакой противности церкви святой» [*Лекарский*, II, 174]. Однако на просьбу напечатать «Феоптию» за счет авторских средств в Академической типографии «трудолюбному» филологу Академическая канцелярия ответила отказом и предложила опубликовать поэму в Москве. Тредиаковский обижался, ждал, подавал прошение повторно, но, не добившись от Академии положительного решения, вынужден был обратиться в Синодальную типографию Москвы в апреле 1757 года. Это было время, не подходящее для публикации «научной метафизики».

Как уже говорилось выше, середина 1750-х годов в России отмечена особым градусом напряжения в противостоянии научных устремлений и церковного догматизма. Святейший Синод не устраивали ни духовные оды Сумарокова, ни перевод Н. Поповского поуповской поэмы⁵³, в которых звучала «богомерзкая» идея множественности миров. Своего рода «маслом» в этом костре церковного обскурантизма стал знаменитый ломоносовский «Гимн бороде» (1757), усиливший подозрительность и раздражение церковных властей. Все эти события рикошетом ударили по рукописи Тредиаковского: вторую — московскую — проверку «Феоптия» не прошла, изысканы были в ней традиционные «сумнительства»: идеи множества миров, гелиоцентризма, материализма. Оригинальное научно-философское сочинение Тредиаковского ушло в небытие на два столетия и увидело свет лишь в середине XX века [*Тредиаковский*, 196–322].

Теперь о «ревновании» и соперничестве. Синхронность писания поэмы не лишила поэтов определенной «иерархии» отношений, обусловленной и большим талантом, и лучшим положением в обществе, и репутацией Ломоносова. Тредиаковский, безусловно, читавший «Письмо» и, вероятно,

⁵³ Стихотворный трактат «Опыт о человеке» А. Поупа являлся в свою очередь аналогом сочинений: «Моралисты, философская рапсодия» («*The Moralists, a Philosophical Rhapsody*», 1709) английского мыслителя Э. Шефстберу (1671–1713) и «Опыты Теодицеи о Благости Божией, свободе человека и начале зла» (1710) немецкого философа Г. Лейбница (1646–1716).

менее всего желавший подражать ему, скорее всего имел намерение превзойти своего литературного конкурента. Всё так, да вот уйти от «восторга и мысли» ломоносовского чекана Тредиаковскому было не по силам, впрочем, как и многим другим поэтам.

Желание написать «Феоптию» возникло у Тредиаковского при чтении поэмы «Опыт о человеке» А. Поупа: «Начал я думать, не можно ль чего подобного составить стихами ж. Ревнивое размышление придало мне некоторыя мысленные крыла: возлетел я ими от Пбпова «Опыта о человеке» до творца человеку. Рассуждал: понеже автор, пиша о человеке, почерпнул все свои мысли из внутренней метафизики, то мне и приличнее еще быть имеет, чтоб мыслящему писать о боге, почерпнуть мои размышления из самых глубокостей тоя ж метафизики» [Тредиаковский, 511]. Дерзновение Тредиаковского — рассказать о самом прогрессивном научном знании по вопросам мироздания — воплотилось в шести эпистолах поэмы (поэма А. Поупа включает четыре эпистолы), в каждой из которых Тредиаковский повествует о какой-либо одной сфере или одном предмете (о теле человека, о животных больших и малых). Эти стихотворные объяснения-описания земного и небесного миров выступают в качестве аргументации главного тезиса поэмы — существования и величия Бога-Творца, чудесным образом сотворившего и устроившего Вселенную.

«Феоптия» имеет диалогическую раму, но с одним голосом, голосом автора поэмы. Как А. Поуп обращает свою поэтическую речь к лорду *Генри Сент-Джону Болингброку (1678–1751)*, Ломоносов — к камергеру Шувалову, так и Тредиаковский адресует свое повествование к заинтересованному в научно-религиозных гипотезах собеседнику. Евсевий, персонаж вымышленный, благочестив и разумен. Первая строка поэмы Тредиаковского является синтаксическим и отчасти смысловым дублетом первых строк Поупа («Awake, my St. John! leave all meaner things») и Ломоносова: «Прокляни, Евсевий, нечестивых слепоту» [Тредиаковский, 196]. Полемичность Тредиаковского включает еще и религиозную нетерпимость к инакомыслящим, что может ввести в заблуждение невнимательного читателя и уверить его в стремлении автора поэмы выступить против науки в защиту религиозных догматов.

Извини, Евсевий, устремление мое,
Что, начертавая к другу, я письмо сие,
К атеистам обратил дело в ней и речи,
А тебя вдруг судьей сделал после встречи.
Ты, как благосклонный, в дружестве отнюдь не льстив,
К богу ж весь усерден и к нему благочестив,

По приятству не причтешь мне сего в погрешность.
Зря на внутренность мою, не чинов на внешность.
[Тредиаковский, 209]

Не мни, Евсевий, быть простым то любопытством,
Что бога можем зреть естественным всем бытвом...
[Тредиаковский, 301].

Но, Евсевий, мню, что ты мыслил сам прилежно,
Попечение об нас божие коль нежно...
[Тредиаковский, 313].

Научно-теологическая поэма Тредиаковского синтезирует в себе идеи и топоры западноевропейских научных поэм. В некоторых строках Тредиаковский перелагает пассажи из прозаического трактата «О существовании и атрибутах Бога» («*Traité de l'existence de Dieu et de ses attributes*») Фенелона. Среди них такие, как цитаты из сочинений Блаженного Августина и исторический эпизод из области искусства о сочетании мастерства древнегреческого художника Протогена со случаем, Провидением, Божьей волей.

Любопытно, что эти же «доказательства» существования Бога были переложены, опять же без отсылки к первоисточнику, в сочинении другого российского просветителя — в «Письмах о природе и человеке» Кантемира. Оба автора в разное время и независимо друг от друга читают, переводят и художественно осваивают один и тот же текст, находя в нем убедительными и достойными для заимствования одни и те же примеры. Что ж, остается еще раз отдать должное таланту Фенелона, а также признать общее поле заинтересованности западных и российских мыслителей, схожесть научно-художественного вкуса российских авторов и их просветительскую интенцию, а также особый — «впитывающий» (Ю. М. Лотман) — характер российской культуры XVIII века⁵⁴.

⁵⁴ В связи с заимствованиями Тредиаковского и Кантемира из трактата «О существовании и атрибутах Бога» Фенелона выскажем следующую гипотезу о механизме синтезирования европейского научно-художественного опыта в послании Ломоносова. На наш взгляд, пафос «ревнования» и «соревнования» определил скрытые заимствования и открытые полемичные строки в ломоносовском «Письме» по отношению, в данном случае, к трактату Фенелона. Если Фенелон более десятка раз на протяжении своего философского рассуждения прибегает к авторитетным ссылкам на Блаженного Августина, то Ломоносов без особого пиетета спорит с ошибочным представлением Августина об устройстве мира, именуя, кстати, Августина «свет-

Стихи 393–396

*Вертясь Стекланный шар, дает удары с блеском,
С громбым сходственны сверканьем и треском.
Дивился сходству ум, но видя малость сил;
До лета прошлого сомнителен в том был,*

Стекланный шар — часть электростатической машины. Первая такая машина была изобретена в середине XVII века немецким физиком *Отто фон Герике (1602–1686)*. Выглядела она примерно так: шар из серы «величиной с детскую голову» был насажен на железную ось, укрепленную на деревянном штативе. Действовала следующим образом: при помощи ручки шар вращался и натирался ладонями рук или куском сукна, в результате чего электризуемый шар светился в темноте и давал электрическую искру. Затем шар из серы был заменен на стеклянный шар, о котором и пишет Ломоносов.

Оригинальные, простые и надежные электростатические машины были описаны в сочинении известного русского ученого *Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833)* в книге «Краткие и на опытности основанные замечания о электрицизме и о способности электрических махин к помоганию от разных болезней» (СПб, 1803).

Под «летом прошлым» Ломоносов, вероятно, имеет в виду 1751 год, когда в Лондоне вышли в свет «Опыты и наблюдения над электричеством» американского физика, политика и дипломата *Бенджамина Франклина (1706–1790)*, где впервые была высказана мысль о тождестве атмосферного электричества и электричества, полученного искусственным путем. Но скорее всего Ломоносов разумеет собственные опыты, произведенные летом 1752 года совместно со своим другом и коллегой, физиком, профессором Петербургской Академии Наук *Георгом-Вильгельмом Рихманом (1711–1753)*⁵⁵, которому еще в 1745 году было велено «электрические эксперименты чинить <...> при дворе, дабы ея императорское величество соб-

ским» эпитетом («вечерний», а не «Блаженный»). Если Фенелон восхищен Протогеном, то Ломоносов — соперничавшим с ним древнегреческим живописцем Апеллесом. Ломоносовское послание аккумулирует в себе все основные просветительские идеи и концепции и во многом наследует и по форме, и по содержанию западноевропейским образцам научно-философского дискурса (сочинения Г. Лейбница, А. Поупа, С. Фенелона и др.), но Ломоносову удалось воссоздать это актуальное поле научных идей оригинально и очень по-русски. Последние два качества, на наш взгляд, и породили целый ряд подражаний и переложений ломоносовского «Письма».

⁵⁵ См. подробнее: [Ломоносов, VIII, 1008].

ственной высочайшею своею особою действие онаго эксперимента видеть изволила» [Пекарский, I, 700].

Стихи 403–408

*Внезапно чудный слух по всем странам течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет!
Что таже сила тучь гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит,
Что зная правила изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от хранин наших гром.*

Громоотводы, о которых радел, рискуя своей жизнью, Ломоносов, вошли в российский быт примерно через полвека, к концу XVIII — началу XIX веков. Подтверждение тому находим в многочисленных изданиях по правилам создания и использования «махин», к примеру, «Краткое и ясное наставление, служащее в пользу каждого, каким образом или сам собою или заказывая кузнецам, слесарям и другим металлическою работою занимающимся рукоделам, может делать с весьма небольшими издержками громовые отводы, как на строениях всякаго рода, так на башнях, пороховых магазинах и кораблях; с присовокуплением правил, как должно поступать, когда гроза бывает близко и купно средств приводить себя в безопасность от гибельных действий молнии» (СПб., 1800).

Стихи 409–412

*Единство оных сил доказано стократно:
Мы лета ныне ждем приятнаго обратно.
Тогда о истинне Стекло уверит нас,
Ужасный будет ли безбеден грома глас?*

«Приятное лето» будущего — 1753-го — года, с таким нетерпением ожидаемое Ломоносовым, не оправдало его надежд. Совместная экспериментальная работа двух ученых — Ломоносова и Рихмана — в области изучения атмосферного электричества привела к смерти Рихмана от удара молнии. Утром 6 августа (26 июля) 1753 года Ломоносов и Рихман заседали вместе в академии, а в 12 часов, когда над Петербургом начала собираться гроза, попросили отпустить их домой, чтобы продолжить наблюдения над

атмосферным электричеством, исследованием которого они занимались последнее время.

Для этой цели служили «громовые машины», установленные в квартирах Рихмана и Ломоносова, живших на Васильевском острове соответственно на 2-й и 5-й линиях. Устройство такой машины было весьма несложно. От металлического стержня, укрепленного на крыше дома, проволока шла в комнату, где проводились опыты, и крепилась к электрометру. Он представлял собой льняную нить, прикрепленную к вертикальной металлической линейке. Когда последняя была наэлектризована, она заряжала нить и отталкивала ее от себя. По степени отклонения нити от вертикали можно было судить о силе «возбуждающего» электричества.

Итак, эксперименты проводились с молниеприемником и с соединенным с ним простейшим электроизмерительным прибором. 5 сентября 1753 года ученые должны были доложить Петербургской Академии Наук о результатах своих исследований. Это были очень опасные опыты. Так как молниеприемники не были заземлены (иначе электричество уходило бы в землю и величину его нельзя было бы измерить), то «громовые машины» представляли собой не молниеотводы, а скорее «молниеприводы».

**Не могу пременить, чтобы не процитировать ломоносовское письмо к Шувалову, написанное в день трагедии (26 июля 1753 года) и содержащее описание этого несчастного случая на службе науке:*

«Милостивый государь Иван Иванович!

Что я ныне к Вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мной споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы

я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что щи простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом просидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан. Он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в Конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линии с ниткой пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Ноги и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, затем что он еще был тепл, однако голова его повреждена, и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер г. Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастье плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти своей пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Его жалованья было 860 руб. Милостивый государь! восходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние господь бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован против приращения наук, всепокорнейшее прошу миловать науки и

вашего превосходительства
всепокорнейшего слугу в слезах
Михайла Ломоносова

Санктпетербург

26 июля

1753 года» [Ломоносов, X, 484–485].

Прозорливости Ломоносова можно только подивиться. Действительно, смерть коллеги-ученого от удара молнии вызвала нелепые толкования: служители церкви немедля заговорили о «каре Божией»; реакционно настроенные ученые настаивали на отмене опасных и ненужных исследований. В результате публичное выступление Ломоносова об электрических явлениях в атмосфере, намеченное на 5 сентября 1753 года, было отменено. Состоялось оно спустя почти три месяца, 26 ноября того же года, когда Ломоносов все-таки прочел «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», огласив научную гипотезу об электризации атмосферы.

Прав Ломоносов оказался и в беспокойствах о вдове Рихмана: пенсии ей не назначили, выдав лишь единовременно сто рублей, а через полгода еще 860 рублей, составлявшие годовое жалованье Рихмана [*Ломоносов*, X, 819].

Гибель ученого, переживания Ломоносова по поводу потери друга и коллеги и продолжение им опытов с атмосферным электричеством — все это становится предметом изображения в первой в русской литературе оригинальной описательной поэме «Херсонида» (1798) С. С. Боброва. В шестой песне поэмы Бобров живописует картину грозы над Таврическими горами с «многократным повторением громовых ударов с толким же возблистанием» [*Бобров*, II, 196]. Описание грозы рождает в нем воспоминание о Рихмане, «смертельно пораженном громом» (молнией), и о Ломоносове, скорбящем о друге и продолжающем опасные изыскания:

Несчастный Рихман!

<...>

Но Ломоносов, друг его,
Не так не счастлив был тогда,
Как тот, в чьем опыте ужасном
Судьба свое скрывало жало
И токмо шага ожидала;
Он самый жребий превозмог;
Прешедши философский мир,
Достиг святилища природы.
Немногие пределы крылись
В безмерной области наук
От взоров пламенных его.
Ах! Как он в сердце восхищался
При испытании эфира,

Когда шипящие лучи,
Одеянны в цветы различны,
Скакали с треском из металла?
[Бобров, II, 205–206]

Бобров посвятил научно-техническому изобретению стихотворение «Обузданный Юпитер, или Громовый отвод» (1786–1791?), являющееся поэтическим переложением отдельных фрагментов из «Писем о разных физических и философических материях» (СПб., 1772)⁵⁶ великого физика и математика того времени *Леонарда Эйлера* (1707–1783). К восьмидесяти восьми строкам своего стихотворения Бобров прилагает несколько пространственных научных ссылок, сообщающих читателю такие сведения, как, например, с какой скоростью звук грома доходит до ушей человека («в секунду чрез 1000 футов») или как «железные прутья <...> поставляются на высоких местах при нашествии громовых туч» [Бобров, I, 304]. Поэтическая форма, не вместившая «технических» деталей, потребовала от автора прозаических научных пояснений, и это понятно. Не до конца ясно другое: почему «физика» в конце просветительского века всё еще просится в «лирику», мало для нее подходящую?

Стихи 413–416

*Европа ныне в то всю мысль свою вперила,
И мѣхины уже пристойны учредила.
Я, следуя за ней, с Парнасских гор схожу,
На время ко Стеклу весь труд свой приложу.*

«С Парнасских гор схожу» — поэтическая формула завершения, парная к «восхождению на Парнас»⁵⁷. Топос Парнасских гор функционирует в качестве сюжетной рамы, фиксирующей «вход» в условный поэтический мир и «выход» из него в реальную действительность, переход от дела поэтического к практическому.

Стихи 421–422

*Златые времена! о кроткие законы!
Народу Своему прощает милионы;*

⁵⁶ О каких именно фрагментах идет речь, см. подробнее примечания В. Л. Корвина к данной поэме С. С. Боброва: [Бобров, I, 616].

⁵⁷ См. наш комментарий к Стихам 5–6.

«Златые времена» — «общее место» высокой поэзии, комплиментарная формула, отражающая, однако, веру авторов в то, что на основаниях разума можно утвердить райское блаженство на земле. Мифологическое представление о «золотом веке», бытующее на протяжении всей истории мировой культуры, присутствует как в представлениях архаичных народов об их предках, так и в развитых религиозно-мифологических системах. Ветхозаветный рассказ о жизни первых людей в раю (один из вариантов мифа о золотом веке) получил дальнейшую разработку в Средние века в христианском учении и оказал сильнейшее влияние на европейское сознание Нового времени [Аверинцев, II, 363–366]. Эпоха Просвещения закрепила в нем идею прогресса, неотвратимого «лучшего будущего», которое, при правильном понимании исторического процесса, можно приближать и строить. Рациональная модель прогресса, определившая ментальность Нового времени, сосуществовала с утопической моделью. В европейской литературе XVI–XVIII веков постоянно присутствует «золотой век» как «парадигма обновленного социума», как «*locus magicus*», в котором «микрокосм приведен в равновесное отношение с макрокосмом» [Живов. *Государственный миф*, 658].

Воспринявшая основные идеи западного Просвещения, русская литература XVIII века также апеллировала к идее идеального общественного состояния. Несмотря на то что мифологема «золотой век» неизменно остается «образцом ненарушенной гармонии» (В. М. Живов), она обретает в каждую историческую эпоху оригинальное сущностное и формальное выражение.

Мотивы возвращения «золотого века», установления «земного рая» присутствуют в той или иной мере во всех двадцати торжественных одах Ломоносова. Уже в «Оде на взятие Хотина» (1739), в ее заключительных строфах, возникает образ, близкий представлениям об идеальных временах. Этот образ содержит практически все основные концепты и мотивы, в рамках которых поэт-просветитель будет в дальнейшем развивать эту мифологему: «Покой», «Тишина», «Блаженство», «Безбедность»; отсутствие препятствий, страха, пасторальные мотивы. Собственно же сочетание «златой век» (калька с лат. «*aurea aetas*»), впервые появляется во второй оде поэта, «Оде на день рождения Иоанна III» (1741): «Златой начался снова век». Варианты формулы: «златые лета», «златые дни», «златые времена», «златые веки» — употребляются поэтом достаточно часто (одиннадцать словоупотреблений в двадцати одах).

Основные мотивы, входящие в состав ломоносовской мифологемы «золотой век», традиционны: они сходны с античными представлениями о счастливом состоянии общества. Наиболее ярко эти представления вы-

ражены в поэме «Труды и дни» Гесиода и в «Метаморфозах» Овидия. К примерам из последнего поэт часто прибегает в своем «Кратком руководстве к красноречию», возможно, именно «Превращения» (название в переводе Ломоносова) Овидия являлись претекстом для одических описаний «российского рая»⁵⁸.

Во многом совпадая с античным прообразом, одическая мифологема «золотой век» имеет у Ломоносова свои особенности, обусловленные как мировоззрением поэта, так и историко-культурной ситуацией современной поэту России.

Во-первых, в основе древней мифологемы «золотой век» лежит традиционный мифологический мотив — «от противного»: прежде все было не так, как сейчас, притом, как правило, лучше. Ломоносов, сохраняя сам принцип, меняет оценки на противоположные, объявляя «неправильным» историческое прошлое (до Петра I и в период, предшествующий царствованию Елизаветы Петровны) и воспевая «идеальное настоящее».

Во-вторых, если «золотой век» в античной мифологии приходит к концу, завершается, то «блаженство России» имеет точку отсчета, «начальное время» — правление Петра I: «Великий Петр нам дал блаженство» [*Ломоносов*, VIII, 101] — и повторяется в правление каждого последующего монарха. Реально-историческая эпоха Петра обретает в одах новый, мифологический, статус «перво времени», открывает собой период «вечного блаженства» России.

В-третьих, в одах Ломоносова образ «весны златой» связан по контрасту с образом «строгих зим» России (противопоставление, неизвестное античной литературе).

В-четвертых, в предпоследней оде — «Оде на день восшествия на престол Екатерины Алексеевны 1762 года» — Ломоносов соединяет «идиллическое спокойствие» и «науки»: «Ее и бодрость и восход / *Златой наукам* век восставит» [*Ломоносов*, VIII, 772]. С одной стороны, поэт как бы сужает сферу распространения благополучия, охватывая «золотым веком» лишь одну область деятельности, а не все государство. С другой стороны, в по-

⁵⁸ Ср. «Метаморфозы» Овидия: «Первым посеян был *век золотой*, не знавший взмездья, / Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность. / Не было шлемов, мечей, упражнений военных не зная, / *Сладкий* вкушали *покой* безопасно живущие люди. / Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой, / Плугом не ранена, все земля им сама приносила. / <...> *Вечно* стояла *весна*; приятный прохладным дыханьем, / Ласково нежил эфир цветы, не знавшие сева. / Больше того: *урожай* без распахки земля приносила; / Не отдыхая, *поля золотились* в тяжелых колосьях, / *Реки* текли *молока*, струились и нектара реки, / Капал и *мед золотой*, сейчас из зеленого дуба...» [*Овидий*, II, 11–12].

добном сочетании можно увидеть практически полную потерю мифологического содержания и превращение мифологема в метафору, обозначающую просто «благополучное состояние» чего-либо.

И, наконец, воплощенная в образе райского сада мифологема «золотой век» является лишь одной из составляющих в ломоносовском образе России. Российское пространство в одах распадается на два мира и существует в двух измерениях: в одном — в тишине и размеренности, на лоне «всегда роскошествующей природы» протекает патриархальная жизнь, в другом — гремит военная слава, «россы» добывают «металл из гор».

В «Письме» топос «золотого века» максимально свернут — до формулы. Но эта формула позволяет Ломоносову реагировать на происходящие события, наполняя ее актуальным историческим содержанием. Так, 15 декабря 1752 года Елизавета Петровна подписала указ о прощении недоимок, накопившихся по подушному сбору за много лет.

Всемиловейший указ императрицы объявлял следующее: *«По вступлении Нашем на Прародителей и Родителей наших Престол, какое попечение и приведении Империи и подданных в силу и лучшее состояние Мы простираем, довольно известно; по которому Империя так силю возросла, что лучшаго времени своего состояния, какое донныне ни было, несравненно превосходит во умножившемся доходе Государственном и народе, из которого состоит и комплектуется высокочлавно наша Армия, ибо как в доходах, так и в упомянутом народе едва не пятая часть прежнее состояние превосходит, Богу, спомоществуящему Нам, благодарение. В разсуждении сего, а паче обыкное Матернее милосердие Наше к верноподданным рабам, вновь оказать Всемиловейше соизволяем, не сумневаясь, что всяк в своем звании наивящше все то, что к пользе Нашей и Империи, и в чем чья должность есть, стараться будет, так как верному рабу и сыну отечества надлежит, производить: Всемиловейше повелеваем, имеющуюся на верных наших подданных по прежней ревизии подушного сбора с 1724 по 1747 год доимку, которой состоит 2.534.008 рублей, со всех сложить всю, и ни на ком оной не взыскивать; и буде у кого за ту прежнюю подушную доимку отписаны на нас движимья и недвижимья имении, какого б оныя звания ни были, которая поныне никому от нас не пожалованы, и из нашей Канцелярии конфискации не проданы, те все по прежнему возвратить тем, у кого оныя отписаны»* [ЛСЗРИ, XIII, 756].

Первая часть этого законодательного документа, выделенная нами курсивом, является развернутым топосом «золотых времен»: «Империя» «лучшаго времени своего состояния» «несравненно превосходит» и т. п. Мифологического происхождения поэтизм Ломоносова на проверку оказывается

чуть ли не исторически верным определением состояния России, если, конечно, исторической правдой считать указ императрицы. Ломоносовский стих — «Народу своему прощает миллионы» — отражает вторую часть указа императрицы.

Отметим, что «петь» о наступлении «золотых времен» в России у Ломоносова был и личный повод. Днем ранее всемилостивейшего всенародного указа — 14 декабря 1752 года — был подписан Сенатский указ «о позволении Профессору Ломоносову завести фабрику для делания разноцветных стекол бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей, с привиллегиею на 30 лет». В указе было изложено прошение Ломоносова с подробным его обоснованием, в частности, говорилось: «...желает он Ломоносов к пользе и славе Российской империи завести фабрику делания изобретенных им разноцветных стекол, и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из за моря великое количество, ценою на многия тысячи; а он Ломоносов, с помощию Божиею, может на своей фабрике, когда она учредится, делать помянутых товаров, не токмо требуемое здесь количество, но и со-временем так размножить, что и за море оные отпускать можно будет, которые и покупать будут охотно, ибо вышеписанные товары станут здесь заморскаго дешевле; <...> а каковы изобретенные им стеклянные составы, тому приложил пробы, также и некоторых из них деланных вещей...» [ПСЗРИ, XIII, 751].

Императрица Ломоносову «завести» фабрику позволила, беспроцентный кредит в четыре тысячи рублей на пять лет выделила, монополию на изготовление стеклянной продукции на тридцать лет установила, от внутренних пошлин на десять лет освободила... Чем не «золотые времена»? Однако всеми этими монаршими милостями Ломоносов был обязан своему Меценату.

Стихи 426–436

*А Ты, мой Меценат, присудствуя пред Нею
Какой наукам путь стараешься открыть,
Пред светом в том могу свидетель верной быть.
Тебе похвальны все приятны и любезны,
Что тщатся постигать учения полезны.
Мои посильные и малые труды
Коль часто перед Нею воспоминаешь ты!
Услышанному быть Ея кротчайшим слухом,
Есть новым бытия животвориться духом!*

*Кто кажет старых смысл во днях еще младых,
Тот будет всем пример, дожив власов седых.*

«Любитель муз» и «Меценат» — самые востребованные и во многом синонимичные в историко-культурном обиходе с XVIII века и до нынешних дней «имена» Шувалова. Однако он не единственный, кто был удостоен этих неофициальных титулов.

** Не могу преминуть, чтобы не сказать о других Меценатах и покровителях Ломоносова.*

Граф *Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803)*, младший брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, на девятнадцатом году жизни был назначен Президентом Академии наук в Петербурге и занимал этот пост более двадцати лет (1746–1765). Активного участия в академических делах он не принимал, но изредка присутствовал на заседаниях и поддерживал научную деятельность Ломоносова. Ему Ломоносов посвятил свою идиллию «Полидор» (1750), которая стала знаком «усердного почтения» Академии Наук в честь нового назначения К. Г. Разумовского — гетманом Украины.

Граф *Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767)* — один из первых покровителей Ломоносова при дворе, оказывавший ему поддержку еще в 1745 году [*Ломоносов, I, 579*]. Положение Воронцова при дворе Елизаветы Петровны не было стабильным. Его участие в ноябрьском перевороте 1741 года и его женитьба на графине Анне Скавронской, двоюродной сестре императрицы, должны были служить прочным основанием его придворной карьеры. Так и случилось: граф Воронцов был пожалован в камергеры Ее Величества, произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом Святого Александра Невского. Однако после заграничного путешествия в 1745 году, длившегося около года, Воронцов был оклеветан перед Елизаветой. Он вернулся в Россию в августе 1746 года. Его положение несколько пошатнулось. Только в 1753 году Елизавета вернула ему прежние милости. Вице-канцлер принял активное участие в Конференции — постоянном собрании для обсуждения государственных дел. В 1758 году Воронцов был назначен канцлером. Когда влияние Воронцова при дворе возросло, он «споспешествовал» Ломоносову.

Видимо, благодаря протекции Воронцова в 1745 году Ломоносова производят в профессора (вместе с Третьяковским), то есть в полноправные члены Академии наук [*Живов. Разыскания в области истории и предьстории культуры, 46*]; благодаря его же хлопотам за «Оду на день восшествия на престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1748 года»

Ломоносов получил неслыханное вознаграждение: «две тысячи рублей». Эта сумма в два с половиной раза превышала годовой оклад Ломоносова и способствовала исправлению его финансовых затруднений после заграничной учебы [Ломоносов, VIII, 946]. В 1757 году по просьбе Воронцова Ломоносов переложил стихами прозаическую надпись на иллюминацию по случаю рождения великого князя Павла Петровича, составленную самим Воронцовым.

В дружеском стихотворении ad hoc «Фортуна вижу я в тебе или Венере» (1759) Ломоносов пишет:

Когда Венера ты, то признаю готову
Любителю наук и знаний Воронцову
Златое яблоко отдать за доброту,
Когда ж Фортуна ты, то верю несумненно,
Что счастье его пребудет непременно,
Что так недвижно ты установила круг,
Коль истинен Патрон и коль он верен друг.

[Ломоносов, VIII, 667]

Эти строки об истинном «любителе наук и знаний», верном друге и постоянстве счастья повторяют строки из «Письма», обращенные к Шувалову. Вероятно, Ломоносов комментирует некое произведение античного изобразительного искусства. Ему удается превратить разгадывание сюжета (кто изображен: Венера или Фортуна?) в изящный стихотворный комплимент Воронцову и напророчить ему счастье, в тот момент особо ему необходимое: Воронцов недавно назначен канцлером, то есть фактически руководителем внешней политики русского правительства.

Ломоносов пытается создать новую социокультурную парадигму — российского меценатства. В ней он отводит себе место труженика-ученого; влиятельный, близкий к Ее Величеству меценат должен стать «защитником» искусств. Шувалов «приятство» свое оказывал неоднократно; Ломоносов же, как посредник между землей и Парнасом, открыл много всего и прославил своего благодетеля. Меценатство как культурный феномен начинает формироваться в Новое время, инициированное западными влияниями и стремительным развитием наук и искусств.

Социальное и научно-литературное творчество переплетаются, Ломоносов не только открывает научные максимы, познает мироздание и сочиняет комплименты на «языке богов», ему необходимо создать условия, социальные и гуманитарные институции, в которых результаты его трудов были бы востребованы.

Петровская «Табель о рангах» (1722) обеспечивала продвижение по карьерной лестнице военным и штатским служащим. Академическая служба не была включена в эту систему, в силу отсутствия самой Академии, которая была учреждена тремя годами позже. Исправить это положение Ломоносову не удалось, хотя он и не единожды подавал «прошение о рангах» президенту Академии графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Первое прошение, оформленное как «челобитная» от имени «всех профессоров», было подано в Академическую канцелярию 12 июля 1748 года [Ломоносов, X, 801]. Об этом же Ломоносов пишет и в письме 1748 года (июля 12 — сентября 3) к тому же адресату: «Ваше сиятельство <...> имеет случай <...> сделать два великие дела, то есть, исходатайствовать нам ранги, умножить в российском народе почтение и охоту к наукам, а себе тем приобрести вечную славу. <...> ваше сиятельство долее не попустит, чтобы мы почитались в одних рангах с теми, которые с адъюнктами нашим учением сравниться не могут, каковы Морской академии учинители. Все природные и чужестранные в службе е. в., кроме нас, почтены пристойными рангами» [Ломоносов, X, 458]. Но граф этому делу «попустил»: ходатайство удовлетворено не было, «бескуражие» академических служащих продолжилось⁵⁹. Рассмотрение этого вопроса 3 сентября 1748 года в Академической канцелярии также ни к чему не привело.

Официальная челобитная результатов и не могла принести, ведь петровская «Табель о рангах» не предусматривала «классов» для академиков. Спустя более двух десятков лет после смерти великого реформатора чиновники растерялись с применением и толкованием петровского документа так же, как и в январе 1725 года, когда в очередном номере петербургских «Ведомостей» не появилось ни некролога, ни какого-либо сообщения о смерти российского императора. Петр I умер — спросить о том, как объявить о смерти Отца Отечества, было теперь не у кого, а соответствующих указаний по этому поводу император не оставил⁶⁰. «Ведомости» почтили Великого Петра молчанием, не справившись с экстраординарной ситуацией.

С государственной «легализацией» академической отрасли происходило нечто похожее: новые жизненные реалии трудно вписывались в жестко регламентированную социальную систему. Не говорилось ничего в «Табели о рангах» ни о «физиках», ни о «лириках»; вот Морская Академия или Сухопутный Шляхетный корпус — это пожалуйста!

Любопытно, что Ломоносов, пытаясь вписать академиков в новую систему, которая работала бы вне бесконечных усилий и постоянных прошений, использует два возможных пути: первый — официальный (челобитная),

⁵⁹ О рангах см. подробнее: [Георги, 336].

⁶⁰ См. подробнее: [Погосян].

второй — личный, рассчитанный на милость и личное участие («милостивое предстательство») наделенного властью или влиянием вельможи.

Здесь важна договорная модель патронно-клиентских отношений, предложенная профессором Ломоносовым молодому президенту Академии. За милость — присвоение академическим занятиям статуса государственной службы, признание тем самым пользы наук для Отечества и обеспечение ученым людям безбедного существования и определенного положения в обществе, — Ломоносов обещает Разумовскому «вечную славу». Такой культурный обмен становится традиционной схемой в отношениях Ломоносова (а вслед за ним и других деятелей искусств) с его благодетелями. Причем эта вневременная слава или «неподвижное счастье» (как еще один продукт обмена) обретает материальность на «языке богов», или, говоря словами Державина, «через звуки лиры и трубы». Ломоносов не обманул ожиданий своих покровителей. И Воронцов, и тем более Шувалов (во многом благодаря первой строке комментируемого «Письма»), остались надолго в истории России и русской культурной памяти.

Бюрократические проволочки; отсутствие социальных механизмов, позволяющих решать каждодневные задачи и претворять в жизнь долговременные проекты; научные оппоненты и личные недоброжелатели — все это инициировало к жизни такой культурный феномен как «меценатство по-русски».

В обращении к Шувалову («А Ты, мой Меценат, присудствуя пред Нею» или в исправленном варианте: «А ты о Меценат, предстательством пред Нею») на первый взгляд нет никакого подвоха: поэт называет Шувалова бескорыстным покровителем искусств, каковым тот и являлся. Однако это не так или не совсем так. Дело в том, что для Ломоносова Меценат — это имя собственное, а не нарицательное, каким оно стало позже.

Гай Цильний Меценат (70–8 до н.э.) — римский патриций эпохи правления императора Августа, друг и покровитель целой группы римских поэтов, среди которых Гораций и Вергилий. «Мой Меценат» — это такая же риторическая фигура, поэтическое имя Шувалова, как и «наш Пиндар» применительно к Ломоносову, «русский Расин» — к Сумарокову, «русская Минерва» — к Елизавете Петровне или Екатерине II. Упоминание Мецената, подарившего свое сабинское поместье Горацию, отсылало к римской историко-культурной модели: император Август — Гай Цильний Меценат — Гораций / императрица Елизавета — Шувалов — Ломоносов. Культурный прецедент римского происхождения Ломоносов проецирует на современную ситуацию в российском обществе⁶¹.

⁶¹ Слово «меценат» не зафиксировано ни в Словаре Академии Российской, ни в толковом словаре В. И. Даля.

Так, в одном из фрагментов чернового варианта «Слова благодарственного Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Елизавете Петровне, Самодержице Всероссийской, на торжественной инаугурации Санктпетербургского университета говоренное 1760 года» Ломоносов намечает развернуть следующий тезис под заголовком «Предсказание»: «1. Подвигнется Европа; ученые, возвращаясь в отечество, станут сказывать: мы были во граде Петрове, гроб его видели, мы видели Елисаветы, мы видели чудныя дела Божия и Петровы, мы видели там Августово время, Меценатов. При дворе как любят учоных?» [Ломоносов, VIII, 684].

Разработка контекста нового поэтического имени Шувалова формирует координаты, в рамках которых будут функционировать меценаты XVIII века и формироваться парадигма меценатства как социокультурного института. Имя богатого римского патриция, превратившееся в нарицательное и обозначающее покровителя искусств и наук, в середине XVIII века еще только наполняется новыми смыслами для российской публики. Нам неизвестны факты личных субсидий Шувалова или Воронцова для ломоносовских проектов: меценатство заключалось в том, чтобы добиться «милости» императрицы для поэта-ученого.

В заключение этого пассажа об ученом и его меценатах сделаем лирическое отступление. В знаменитом пушкинском стихотворении «Невод рыбака расстилал по берегу студеного моря...» (1832) пророчествующий голос призывает Ломоносова: «Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». Если первую часть стиха можно считать осуществленной в реальности, то вторая ее часть принадлежит культурной мифологии. Не был Ломоносов «помощником» ни царей, ни цариц. До них было не добраться. Осуществить же какие-либо проекты можно было через влиятельных вельмож, что и пытался делать Ломоносов.

**Не могу преминуть, чтобы не сказать о Петре Великом — герое, отсутствующем в «Письме о пользе Стекла». Исключительный случай для литературного творчества Ломоносова: фигура Петра Великого и связанный с ней топос творца новой России не востребованы в научном послании. Государственный миф пронизывает все поэтическое (шире — словесное) творчество Ломоносова. Весь его поэтический мир подчиняется главной идее — идее просвещенной государственности. Миф о новом государстве, о новой России строится на базовых для мифологий (прежде всего архаических) законах и категориях: космогонический «миф творения», фигура героя-демиурга, мифологема «золотого века» и др. Первостепенным в этом ряду является миф о Петре*

Великом: «Начиная с оды на взятие Хотина, нет ни одной оды Ломоносова, где бы не упоминалось имя Петра, с неизменной, можно сказать, с гипнотизирующей настойчивостью не славилось его дело» [Благой, 154]. В ряду идеализированных российских монархов (Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II) самым частотным героем, организующим центр образного мира оды является Петр Великий: в двадцати одах Ломоносова имя Петра упоминается более двухсот пятидесяти раз. Ему же посвящена и первая в русской литературе попытка создания национальной героической поэмы. О чьем бы царствовании ни писал Ломоносов, чьи бы мирные дела ни прославлял или военные подвиги ни пел в одах, надписях к огненным действиям, торжественных словах, имя Петра возникало и служило Ломоносову необходимым сакральным знаком, наличие которого освещает и освящает любой воспеваемый им предмет. Ломоносов восхваляет «великий труд Петров» [Ломоносов, VIII, 696] при каждом возможном случае. «Земное божество», «Отечества отец» [Ломоносов, VIII, 284–285], «бессмертный герой», «Россов обновитель» — вот далеко не полный список поэтических имен, которые Ломоносов прилагает к Петру и которые отчетливо объединяются «демиургической» семантикой).

Ломоносовская поэма о Петре являет собой пример просветительской агиографии, *светского поэтического жития*. Как пишет Ю. М. Лотман, «петровская государственность не была воплощенным символом, т. к. сама представляла конечную истину, не имея инстанции выше себя, не была ничьей представительницей и образом. Однако она, как и допетровская централизованная государственность, требовала в е р ы в себя и полного в себе растворения. <...> Создавалась светская религия государственности...» [Лотман, 40]. И оды, и неоконченная героическая поэма «Петр Великий» (1756–1761) разрабатывают одну из основных линий в поэтической мифологизации образа «Героя» — *идею Сверхчеловека*, превосходящего в своих действиях мифологических богов:

Что первый пел дела *такого Человека*,
Каков во всех странах *не слыхан был от века*.
[Ломоносов, VIII, 697]

Петра Великого гласить вселенной в слух
И показать, как Он *превыше человека*
Понес труды для нас, *неслыханны от века*.
[Ломоносов, VIII, 699]

Петр обладает бессмертием, но это не бессмертие христианского подвижника, это «вечно живой» монарх, заботящийся о своей стране даже на небесах. Он становится небесным патроном России:

Он жив, во все страны взирает,
Свою Россию обновляет,
Полки, законы, корабли
Сам строит, правит и предводит,
Натуру духом превосходит —
Герой в морях и на земли.

[*Ломоносов, VIII, 653*]

Необходимо заметить, что время, постепенно удаляющее россиян от эпохи Петра и стирающее актуальность обращения к его личности, а также частотность употреблений его имени и описаний его свершений сжимали миф о царе-демиурге до имени, воплощающем в себе закрепленные традицией смыслы: царя — работника на троне, царя-воина, царя-мореплавателя, царя — творца России, царя-градостроителя и др. Имя Петра Великого входило в различные топосы и само превратилось в широко востребованную поэзий века Просвещения риторическую фигуру. Но не в «Письме о пользе Стекла»!

Почему Петр не попадает в эту научно-торжественную речь, тем более что мотивов, провоцирующих упоминание хотя бы его имени, достаточно: и развитие наук, и благоденствие России, и главное — Елизавета, развивающая те самые науки и созидающая то самое благоденствие? Думаю, не пришлось к случаю, к повествованию, к эмоциональному тону, не вплелся в поэтический мир — в общем, не случилось. Попробую высказать следующую гипотезу.

В большей части торжественных поэтических и прозаических текстов имя Петра Великого сопряжено с именем его Великой Дщери, что вполне закономерно: из двадцати четырех лет работы в Академии Наук двадцать лет деятельности Ломоносова приходится на царствование Елизаветы.

«Петрова Дщерь», «Дщерь Петрова», «Петрова кровь» — самые распространенные поэтические имена императрицы, транслирующие прежде всего следующие идеи: в начале царствования — легитимность ее восшествия на престол, в дальнейшем — преемственность и наследование дел Великого Петра.

Поднесенный в 1721 году Петру I титул «Отец Отечества» (1721) задал модель титулования царствующей персоны, востребованную, однако, только в эпоху Екатерины II. Именно тогда и Сумароков, и поэты младших

поколений ввели в широкое одическое употребление имя «Мать народа» (с вариантами).

Но Елизавету Петровну так почти никогда не именовали. В торжественных одах Ломоносова, написанных в ее эпоху, такое титулование императрицы встречается лишь трижды⁶², а в сумароковских одах этого периода — ни разу. Это связано с идеологией, заданной самой Елизаветой Петровной с момента ее вступления на престол и почти на все время ее царствования. Как известно, единственным аргументом в пользу ее права занять российский трон было ее ближайшее кровное родство с Петром I, поэтому доминирующим поэтическим титулом Елизаветы Петровны при ее жизни было имя «Дщери Петровой». Так, в одах Ломоносова это «имя» употребляется около двадцати раз [Ломоносов, VIII, 82, 96, 102, 139, 142, 143, 144, 202, 395, 395, 503, 503, 637, 656, 742, 744, 750, 774, 789]. Елизавета не стала «матерью народа», потому что на протяжении всего царствования она оставалась «дщерью» своего великого отца. Таким образом, включение в одну пару имен и смыслов (Отец & Дщерь) не позволяло актуализировать другую пару с именами родственных отношений (Мать & народ).

В «Письме о пользе Стекла» Елизавета Петровна включена в иную систему отношений. Послание обращено к фавориту императрицы, поэтому заключительные двадцать четыре строки — это кумуляция комплиментов Елизавете и Шувалову, отсылающая к паре: императрица & фаворит. Собственно говоря, Шувалову Ломоносов приписывает некоторые качества, которыми обладал Петр:

А ты, о Меценат, предстательством пред нею
Какой наукам путь стараешься открыть,
Пред светом в том могу свидетель верной быть
Тебе похвальны все приятны и любезны,
Что тщатся постигать учения полезны.

Сравним этот фрагмент, например, со строками из первой «Надписи к статуе Петра Великого»:

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки <...>
Художников сбирал...

[Ломоносов, VIII, 284–285];

⁶² См.: «Единым гласом все взываем, / Что Ты Защитница и Мать» (Ода 1748 г.); «Не Тая ли на нас взирает, / Что Материю все зовут?» (Ода 1752 г.); «Услышав щедрю в гнев Мать» (Ода 1759 г.) [Ломоносов, VIII, 220, 500, 651].

или с хрестоматийными строками из «Оды на день восшествия Елизаветы Петровны 1747 года»:

Тогда божественны науки,
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
<...>
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды
[Ломоносов, VIII, 200].

Конечно, Ломоносов не сакрализует Шувалова, как Петра, не наделяет его способностями царя-демиурга, но Шувалову все же достаются некоторые идеальные качества, приписываемые Петру: это и «споспешествование» наукам, и этические качества (доброта), и мудрость в молодости («Кто кажет смысл во днях еще младых»), и статус образца для подражания: «Тот будет всем *пример*». А вот строки о Петре из поэмы «Петр Великий»: «Да на его *пример* и на дела велики / Смотри весь смертных род, смотря земны владыки...».

Ломоносов высоко оценивает посреднические возможности Шувалова, что во многом соответствовало действительности. От Шувалова зависел успех множества предприятий, в частности от того, в каком свете он представит эти проекты императрице.

Таким образом, фигура любимца императрицы и мецената, заботящегося о науках и находящегося в непосредственной близости к Елизавете, обрела черты Петра (насколько смогла!), образовав новую пару «императрица & возлюбленный в должности», тем самым вытеснив имя Петра из этого послания.

Стихи 437–440

*Кто склонность в щастии и доброту являет,
Тот щастие себе недвижно утверждает.
Всяк чувствует в Тебе и хвалит обое,
И небо чаемых покажет збытие.*

В этих строках концепция изменчивости счастья спроецирована Ломоносовым на любимца фортуны. Ломоносов признает выпавшее на долю Шувалова «счастье» — положение фаворита императрицы — именно как

результат игры счастья и пробует установить новые условия игры: если тебе выпало счастье, будь добрым и поделись им (помоги мне, Ломоносову, в продвижении наук), тогда «счастье» будет «недвижно», постоянно. Эти заключительные строки создают симметрию послания: звучащая в них идея истинного счастья восполняет необходимую антиномическую половину «лживого счастья»⁶³.

**Не могу преминуть, чтобы не указать на один из ремейков ломоносовского «Письма» — «Послание Ломоносову о рудословии» (1819) графа Дмитрия Ивановича Хвостова (1757–1835). Хвостовское послание, состоящее из двухсот сорока двух строк, во многом повторяет поэтику ломоносовского «Письма», его сюжетостроение, образы и мотивы, персонажный состав, способ рассказа о природных явлениях. В своей оригинальной «старомодной» манере Хвостов сочиняет по мотивам ломоносовского «Письма» новую естественнонаучную поэму о минералах, адресуя ее бесмертному Ломоносову:*

Народа славного певец рожденный к чести!
Тебе курение не прикоснется лести.
Доколе времени ты под державой жил,
Надменной зависти смиренной жертвой был;
Память в чудесный мир с Картезием, Ньютоном,
Ты рядом шествовал с Пиндаром, Цицероном;
Ты быстро простирал неутомимый взор
В луга цветущие, на верх Парнасских гор;
Спускался с высоты в обители подземны,
Вертепы дикие, чертоги ада темны,
И там, где царствует и дым густой и мгла,
Писал к Шувалову о красоте стекла.

[Хвостов, 57]

⁶³ См. наш комментарий к Стиху 10.

Вместо заключения, или О метафорической пользе ломоносовского Стекла

В «Письме о пользе Стекла» Ломоносов привел исчерпывающий ряд «полезностей» «чудесного» Стекла в мире людей. Добавим в него еще один пример, причем из области, как будто совсем не подходящей для его использования, — из творчества Н. В. Гоголя.

Гоголевское отношение к Ломоносову-поэту во многом традиционно для критико-литературоведческого дискурса первой половины XIX века. Писатель признает историческую значимость ломоносовского творчества как истока русской литературы. Размышляя о самобытном характере русской поэзии в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846), Гоголь называет Ломоносова «отцом стихотворной речи», «начинателем» и одновременно «господином и законодателем языка», но более видит в нем ученого-натуралиста, вдруг ставшего поэтом. Как и большинство коллег по литературному цеху XIX века, лишь в некоторых стихах Ломоносова Гоголь чувствует настоящий поэтический талант, сравнивая его поэзию со «вспыхивающей зарницей», которая «освещает не все, но только некоторые строфы».

«...Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук на поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление

о Божиим величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову “О пользе стекла”» [*Гоголь*, VIII, 370–371].

Некоторые из этих очень гоголевских, хлестких характеристик можно оспорить, но у нас другая задача. Мы хотим привести один любопытный образчик историко-культурного проникновения «известного послания к Шувалову» в еще более известные «Мертвые души». Для этого процитируем хрестоматийный пассаж о двух типах писателей в зачине седьмой главы гоголевской поэмы:

«Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплещая, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшему вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшему выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что *равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых*; ибо не признает совре-

менный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания; ибо не признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха!» [*Гоголь*, VI, 133–134].

Приведенный отрывок — замечательный образец поэтического пафоса. И возвышенный строй лиры, и восторг, и объемлющий сердца трепет, и торжественная колесница, и парение над землей, и громко разносящаяся слава — все эти мотивы и топысы торжественной поэзии XVIII века впервые созданы в одах Ломоносова, которым Гоголь отказал в творческом начале. Но это тема других размышлений...

Здесь же для нас важны строки о «чудных стеклах», которые озирают «солнцы». Заметим, что слово «солнцы» употреблено Гоголем в «правильном» для предыдущего просвещенного века множественном числе, отсылающем читателя к идее множественности миров и к ломоносовским строкам о том, что «Стекло являет нам» «много солнцев». Соответственно «незамеченные насекомые», о которых пишет Гоголь, заставляют вспомнить известные уже строки «Письма» о микроскопе.

Объявленное Ломоносовым равенство «огромности небесной» и «скудели тесной» в научном подходе к явлениям природы спроецировано Гоголем на художественное познание и отображение явлений общественной жизни и человеческой природы, в процессе которого функцию микроскопа и телескопа выполняют писательское зрение и писательский слог. Закон масштаба как один из определяющих законов художественного мира Гоголя отмечают большинство исследователей его творчества [*Луковский. Реализм Гоголя; Бочаров; Манн; Маркович; Дилакторская; и др.*]. Мы приведем слова Андрея Белого, который, не ссылаясь на «Письмо о пользе Стекла», верно подметил, что в «Мертвых душах» «кричит особенность зрения Гоголя: один глаз — дальнорук; другой — близорук; один — отдаляет; другой — приближает; один — телескоп; другой — микроскоп. Нормальны лишь усилия интерферировать ненормальность: телескоп заставлял дам одевать платья звездного блеска; микроскоп — видеть зловонными ямами поры кожи; есть миры блеска; и поры кожи — пропасти в микромире...» [*Белый*, 267].

«Чудны стекла» в гоголевской поэме — это не столько формула интертекста или метафора творчества, сколько перенесенный из научной деятельности и поэтического искусства Ломоносова подход к познанию и отображению мира, художественно осмысленный Гоголем и позволивший «озирать всю громадно-несущую жизнь, озирать ее сквозь *видный* миру смех и *незримые*, неведомые ему слезы!»

Да, «далече до конца Стеклу достойных хвал»...

Сокращения

Августин — Августин. О граде божьем. М.: АСТ, 2000.

Аверинцев — Аверинцев С. С. Рай // Мифы народов мира. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1992.

Алданов — Алданов М. А. Собрание сочинений. В 6 т. М.: Правда, 1991.

Алексеев — Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени // Пушкин: Исследования и материалы. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1956. С. 9–125.

Барков — Барков И. С. Полное собрание стихотворений / Сост., подг. текста, вступ. статья и примеч. В. Сажина. СПб.: Академический проект, 2005.

Барков. Девичья игрушка — Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / Сост., подгот. текстов, статьи, примечания А. Зорина, Н. Сапова. М.: Ладомир, 1992.

Барсов — Барсов Т. В. О духовной цензуре в России // Христианское чтение. 1901. Т. ССХІ. Ч. I.

Бартенев — Бартенев П. Шувалов. М., 1855.

Баскин — Баскин М. П. Августин как теоретик католицизма // Августин: Pro et Contra. Русский путь. М.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, 2002. С. 466–486.

Батюшков — Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. М.: Художественная литература, 1989.

Белинский — Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. В 9 т. М.: Художественная литература, 1981.

Белый — Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование / Предисл. Л. Каменева. М.–Л.: ГИХЛ, 1934.

Белый Ю. — Белый Ю. А. Иоганн Кеплер. М.: Наука, 1971.

Берков — Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.–Л., 1952.

Биллярский — Материалы для биографии Ломоносова / Собраны экстраординарным академиком Биллярским. СПб., 1865.

Благой — Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1953.

Бобров — Бобров С. С. Рассвет полночи. Херсонида. В 2 т. М.: Наука, 2008.

Богданович — Богданович И. Сугубое блаженство. СПб., 1765.

Бочаров — Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985.

Вавилов — Вавилов С. И. Исаак Ньютон. 2-е доп. изд. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1945. Переиздание: М.: Наука, 1989.

Веселовский, Аристарх Самосский — Веселовский И. Н. Аристарх Самосский — Коперник античного мира // Историко-астрономические исследования. Вып. VII. М., 1961. С. 17–70.

Веселовский, Гюйгенс — Веселовский И. Н. Гюйгенс. М.: Учпедгиз, 1959.

Визгин — Визгин В. П. Идея множественности миров: Очерки истории. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛКИ, 2007.

Владимирова, Сбойчаков — Владимирова Н. Г., Сбойчаков В. Б. М. М. Тереховский. Жизнеописание и основные аспекты творческой деятельности // М. М. Тереховский (1740–1796) и развитие экологической микробиологии. Материалы симпозиума. Санкт-Петербург. 13 апреля 2006 г. / Под ред. А. А. Вихмана. СПб., 2006. С. 64–72.

Гаспаров — Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. I. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997.

Георги — Георги И. И. Описание столичного города Санктпетербурга. СПб., 1794.

Гоголь — Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 т. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1937–1952.

Голицин — Голицин Ф. Н. Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова, писанная племянником его тайным советником кн. Федором Николаевичем Голицыным // Московитянин. 1853. Т. 2. № 6. Март. Кн. 2. Отд. 4. С. 87–98.

Гораций — Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений в одном томе. СПб.: Студия биографика, 1993. (Пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).

Гуковский, Реализм Гоголя — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.–Л.: Художественная литература, 1959.

Гуковский, Русская литература XVIII века — Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М.: Аспект Пресс, 2003.

Гуковский, Русская литературно-критическая мысль — Гуковский Г. А. Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750-е годы // XVIII век. Вып. 5. М.–Л.: Издательство АН СССР. С. 98–129.

Гуковский. Русская поэзия XVIII века — Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.

Гурев — Гурев Г. А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем. М., 1933.

Гуревич — Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.

Державин — Сочинения Г. Р. Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. В 9 т. СПб., 1868–1884.

Дилакторская — Дилакторская О. Г. Фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Владивосток, 1986.

Диоген — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979.

Дмитриев — Дмитриев И. С. Испытание святого Коперника. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.

Дыхне — Дыхне М. М. Заметки к тексту «Письма о пользе стекла» М. В. Ломоносова // Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы / Под ред. П. Н. Беркова, И. З. Сермана. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 258–269.

Еремеева, Цицин — Еремеева А. И., Цицин Ф. А. История астрономии (основные этапы развития астрономической картины мира). М.: Издательство МГУ, 1989.

Живов. Государственный миф — Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века. // Из истории русской культуры. Том IV (XVIII — начало XIX века). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 657–685.

Живов. Разыскания в области истории и предыстории культуры — Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории культуры. М., 2002.

Живов. Язык и культура в России XVIII века — Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Житомирский — Житомирский С. В. Гелиоцентрическая гипотеза Аристарха Самосского и античная космология // Историко-астрономические исследования. Вып. XVIII. М., 1986. С. 151–160.

Жолковский — Жолковский А. О пользе вкуса // Жолковский А. Осторожно, треножник! М.: Время, 2010. С. 33–50.

Кантемир — Кантемир А. Д. Сочинения в двух томах. СПб., 1868.

Кантемир. Разговор о множестве миров — Кантемир А. Д. Разговор о множестве миров. Сочинение г. Фонтенеля. М., 1802.

Карамзин — Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988.

Карцев — Карцев В. П. Ньютон. М.: Молодая гвардия, 1987 (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Кирсанов — Кирсанов В. С. Научная революция XVII века. М.: Наука, 1987.

Кобзарев — Кобзарев И. Ю. Ньютон и его время. М.: Знание, 1978.
Коровин — Коровин М. Г. Библиотека Ломоносова. М.–Л., 1961.
Котович — Котович А. Духовная цензура в России (1799–1855 гг.). СПб., 1909.

Крашенинников — Крашенинников С. П. Речь о пользе наук и художеств... // Торжество Академии наук на вожденный день тезоименитства Е. И. В. Елизаветы Петровны. СПб., 1756.

Кузнецов — Кузнецов Б. Г. Ньютон. М.: Мысль, 1982.

Ланжевен — Ланжевен Л. Ломоносов и французская культура XVIII века // Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем / Сост. Г. Е. Павлова, А. С. Орлов. М.: Современник, 1989 (Серия «Открытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли России в лицах и документах»). С. 412–438.

Левитт — Левитт М. «Вечернее размышление о Божием величестве» и «Утреннее размышление о Божием величестве» Ломоносова: опыт определения теологического контекста // XVIII век. Сб. 24. СПб.: Наука, 2006. С. 57–70.

Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова — Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова / Под ред. А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Чекала. М.–Л., 1961.

Ломоносов — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. В 10 т. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1950–1959; Т. 11. М.–Л., 1983.

Лосев — Лосев А. Ф. Музы // Мифы народов мира. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1992.

Лотман — Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII — начало XIX). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 13–348.

Лукреций — Тит Лукреций Кар. О природе вещей / Пер. с лат. Ф. Петровского. М.: Художественная литература, 1983.

Мандельштам — Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в четырех томах. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997.

Манн — Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Художественная литература, 1988.

Маркович — Маркович В. М. «Петербургские повести» Гоголя. Л.: Художественная литература, 1989.

Материалы для истории Имп. Академии Наук — Материалы для истории Императорской Академии Наук. Т. I–X. СПб., 1885–1900.

Мелетинский — Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2000.

Модзалевский — Модзалевский Л. Б. Ломоносов и его ученик Поповский (О литературной преемственности) // XVIII век. Сб. 3. М.–Л., 1958. С. 117–161.

Муравьев — Сочинения М. Н. Муравьева. В 2 т. СПб., 1847.

Муравьев. Похвальное слово — Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев // М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. / Сост. Г. Е. Павлова. М.—Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 35-40.

Муравьев. Стихотворения — Муравьев М. Н. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1967 (Серия «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание).

Овидий — Овидий. Собрание сочинений: В 2 т. СПб.: Студия биографика, 1994.

Орлов — Орлов В. Н. Русские просветители 1790–1800-х годов. Изд. 2-е. М.: Гослитиздат, 1953.

Осповат — Осповат К. Ломоносов и «Письмо о пользе Стекла»: поэзия и наука при дворе Елизаветы Петровны // НЛО. 2007. № 87. Интернет-версия: <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/os9.html>

Панченко — Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л.: Наука, 1984.

Пекарский — Пекарский П. История Императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1870-1873. Т. I–II.

Пиндар — Пиндар, Вахкилид. Оды. Фрагменты (Издание подготовил М. Л. Гаспаров). М.: Наука, 1980. Интернет-версия: <http://ancientrome.ru/antlittr/pindar/pindar03.htm#c12>

Плиний Старший — Плиний Старший, Гай Секунд. Естествознание: Об искусстве. / Пер. с латинского, предисл. и примеч. Г. А. Тароняна. (Серия «Античная классика»). М.: Ладомир, 1994.

Погосян — Погосян Е. Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001.

Покровский — Покровский Н. Н. Народная эсхатологическая «газета» 1731 г. // Исследования по новой и древней литературе. Л.: Наука, 1987. С. 290–297.

Поповский — Опыт о человеке господина Попе. Переведено с французского языка Академии Наук конректором Николаем Поповским 1754 года. Москва, 1802.

Поуп — Поуп А. Поэмы. М.: Художественная литература, 1988. (Перевод В. Микушевича).

Поэты XVIII века — Поэты XVIII века. В 2 т. Л.: Советский писатель, 1972. (Серия «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание).

ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830.

Пумпянский — Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма (1923–1924) // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 30–158.

Пушкин — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Изд. 3-е. М.: Издательство АН СССР, 1963.

Радищев — Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб.: Наука, 1992.

Радовский — Радовский М. И. М. В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1961.

Райков — Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. Изд. 2-е. М.–Л., 1947.

Рак — Рак В. Д. Возможный источник стихотворения М. В. Ломоносова «Случились вместе два Астронома в пиру» // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 217–219.

Раскин, Шафрановский — Раскин Н. М., Шафрановский И. И. Иоганн Фридрих Генкель // Ломоносов: Сб. статей и материалов, Л., 1983. Т. 8. С. 76–86.

Санктпетербургские Ведомости — Санктпетербургские Ведомости, 1749 г. № 85. Известие из Москвы, от 15 октября.

САР — Словарь Академии Российской. В 6 т. СПб., 1789–1794.

Севергин — Севергин В. М. Слово похвальное Михайлу Васильевичу Ломоносову, читанное в Императорской Российской Академии в годовом торжественном Ея собрании 1805 года. Членом оныя Васильем Севергиным. СПб., 1805.

Синдаловский — Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб.: Фонд «Ленинградская галерея», 1994.

Сирано де Бержерак — Сирано де Бержерак С. Иной свет, или Государства и империи Луны. Ред. и вступ. статья В. И. Невского. М.–Л., 1931.

Славянская энциклопедия — Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия. В 2 т. / Авт.-сост. В. В. Богуславский, Е. И. Куксина. М.: Олма-Пресс, 2005.

Соболь — Соболь Л. С. История микроскопа и микроскопических исследований в России в XVIII веке. М.–Л.: Издание АН СССР, 1949.

Спор древних и новых — Спор древних и новых. М.: Искусство, 1984 (Перевод Н. Буало Н. В. Наумова).

Столяров — Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995.

Сумароков — Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. В 10 т. М., 1781–1782.

Тереховский — Тереховский М. М. Польза, которую растения смертным приносят. СПб., 1796.

Токарев — Токарев С. А. Огонь // Мифы народов мира. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1992.

Топоров — Топоров В. Н. Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. II. М.: Языки славянской культуры, 2003 (Серия «Язык. Семиотика. Культура»).

Третьяковский — Третьяковский В. К. Избранные произведения. М.–Л.: Советский писатель, 1963. (Серия «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание).

Тынянов — Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр / Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

Уваров — Уваров М. С. Блаженный Августин в русских переводах Екатерининского времени // Екатерина Великая: Эпоха российской истории (в память 200-летия со дня смерти Екатерины II (1729-1796)) // К 275-летию Академии наук: Тезисы международной конференции. СПб., 1996. С. 103–105.

Успенский — Успенский Б. А. *Historia sub specie semioticae* / Из истории русской культуры. Т. III. М.: Языки русской культуры, 1986. С. 519–528.

Хвостов — Хвостов Д. И. Полное собрание стихотворений. В 7 т. СПб., 1828–34 (Т. 2. СПб., 1829).

Херасков — Херасков М. М. Эпические творения. Ч. 2: Владимир. Плоды наук. М., 1820.

Херасков. Творения — Херасков М. М. Творения дополненные и исправленные. Изд. 2-е. В 12 ч. М., 1811. Ч. 3.

Шаховской — Шаховской Я. П. Записки Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. Изд. 2-е. В 2 ч. СПб., 1821.

Ярхо — Ярхо В. Н. Иксион // Мифы народов мира. В 2 т. М.: Советская энцикл., 1992.

Boileau — Boileau Despreaux N. Oeuvres completes. Paris, 1832. Т. II.

Pope — Pope A. An Essay on Man / Ed. By M. Mack. L.; N. Y., 1982.

Rousseau — Rousseau J.-B. Oeuvres. A Bruxelles. MDCCXLIII. Т. I.

Приложение

1. Я. Я. Штелин

[Конспект похвального слова Ломоносову, написанный Штелиным в 1765 г.]

Exordium [приступ.] Со времени основания Академий вошло в обычай прочитывать покойным членам панегирики. Польза этого обыкновения в истории литературы для поощрения других.

Причина — пренебрежение его в нашей Академии. Отдаленная [causa remotior] — не недостаток славных мужей, но невежество секретарей.

Ближайшая. Впредь не должно пренебрегать им. Восстанавливаю обыкновение и намерен и должен произнести, если не панегирик, то просмотреть краткую биографию знаменитого человека, оказавшего великие заслуги отечеству, наукам и искусствам, человека, можно сказать, необыкновенного.

Родился в 1711 г. в Куростровской волости, острове Двины близ Холмогор. Отец рыбак. С детства, сопутствуя отцу в трудах, до 18-го года занимался рыболовством и ознакомился с берегами Белого моря и Северного океана.

На север проникал до Колы и далее. Доходил до 70-го градуса широты. Ребенком делал наблюдения, изучал природу, собирал редкости, зимою учился читать у священника того же места; читал только священное писание; привыкал к слогу. Желал читать более и узнал, что то писано на латинском языке. Побужденный желанием выучиться латинскому языку, задумал бежать и прибыл в Москву (в 1728 году, 17 лет). Принятый в Спасский монастырь, с жадностью набирался сведений. Обогащенный познаниями, учил детей священника. Предался изучению латинских и греческих авторов и рукописей, писанных на русском языке. В 1733 году отправился в Киев, но не нашел там лекций по физике и философии, которых добивался. Возвратился в Москву и с жаром предался науке. В то же самое время Петербургская Академия письменно просила у епископа юношей из семинарии для слушания профессорских лекций. Посланный в Петербург, в Академию (1734), посвящает себя изучению металлургии, физики и математики. В 1736-м его посылают в Марбург к Вольфу; изучает немецкую литературу, читает поэтов (особенно Гюнтера); подражает соотечеч-

ственным; первый дает стихам размер; посылает оду свою к президенту Академии; свидетельство Вольфа о его способностях. Отправляется в Фрейбург к Генкелю, посвящает себя литейному и рудному делу, исследует минералы; занятия химией (прилагает к химии физические и математические начала). Возвратившись, женится в Марбурге; продолжает занятия. Отправляется в Бельгию; на возвратном пути его хватают прусские солдаты, поневоле записывают в число рейтаров и силою уводят в Везель. Убегает и пробирается не без опасностей в Бельгию. В Гаге ему помогает граф Головкин. Садится на корабль и отправляется в Петербург; дорогою видит во сне отца. Осведомившись о нем в Петербурге, слышит, что он погиб; задумывает ехать на родину, чтобы искать отца на островах; получает известие, что отец найден на острове; оплакивает его кончину. Сделанный адъюнктом Академии, выказывает отличные способности. В 1746 году его определяют профессором химии; строит лабораторию и прилежно занимается опытами. Получив в дар Каровалдайский участок, учреждает стеклянный завод. Обнаруживает способности свои новыми изобретениями: мозаика, прежде неизвестная (повод дан был Воронцовым). По предложению Сената берется за великое дело. Великие творения его в области поэзии, красноречия, грамматики, отечественной истории, физики, математики и астрономии. Прославленный сочинениями своими, он избирается членом Шведской и Болонской Академий. Его замечает императрица Елизавета, удостоивает благосклонности и осыпает благодеяниями; его назначают советником; покровительство первых при дворе особ. Неприимимая вражда с невеждою поэтом Сумароковым. Побуждает к открытию северных стран, сообщает свои наблюдения. Императрица Екатерина, благосклонностью и желанием распространить образование в государстве, подобная Елизавете, обращает внимание на его опытность и приказывает ему изложить свои мысли на письме. Его Петриады явилась только первая книга. Обещания Шувалова. Пылает любовью к отечеству и желанием распространить в нем просвещение. Управляет академическую гимназию. Скончался на святой неделе 1765 года. Смерть встретил с духом истинного философа; сказал: жалею только, что покидаю недовершенным то, что задумал я для пользы отечества, для приращения наук и восстановления упавших дел академических: оно умрет со мною. Похвалы ему заключу в один короткий стих:

Principibus placuisse viris non ultimatus est.

Все его записки приобрел граф Григорий Орлов.

Граф Воронцов на свой счет велел поставить на могиле его памятник из каррарского мрамора и просил Штелина написать эпитафию.

Характер Ломоносова:

Физический. Отличался крепостью и почти атлетическою силою; например, трех напавших на него матросов одолел и снял с них платье.

Образ жизни общий плебеям.

Умственный. Исполнен страсти к науке; стремление к открытиям.

Нравственный. Мужиковат . . . Религиозные предрассудки его. Сатиры на духовных. Гимн бороде. Преследует бедного Тредьяковского единственно за его дурной русский слог.

Якоб (Яков Яковлевич) Штелин (1709–1785) — один из видных деятелей Петербургской Академии наук, служил в ней пятьдесят лет (1735–1785). Конспект речи Штелина, посвященный памяти Ломоносова, предназначался для выступления в Академическом собрании, где, по традиции того времени, было принято отмечать, кончину своего коллеги похвальным словом. Однако выступление Штелина с похвальной речью по случаю кончины Ломоносова не состоялось. Некоторые даты, указанные Штелиным в «Конспекте», неточны.

...прибыл в Москву (в 1728 году, 17 лет) — Ломоносов прибыл в Москву в конце 1730 г.

...Посланный в Петербург, в Академию (1734) — В конце 1735 г. Ломоносов вместе с другими учениками Славяно-греко-латинской академии был направлен в Петербургскую Академию наук, куда они прибыли 1 января 1736 г.

...посылает оду свою к президенту Академии — Свою оду «На взятие Хотина» Ломоносов выслал из Фрейберга в 1739 г. в Петербург на имя президента Петербургской Академии наук.

...и пробирается не без опасностей в Бельгию — Штелин не совсем точно излагает возвращение Ломоносова в Петербург: в Гааге граф А. Г. Головкин отказал Ломоносову в помощи, и Ломоносову пришлось вернуться в Марбург. И только после полученного распоряжения Академии Ломоносов в 1741 г. вернулся в Россию.

...В 1746 году его определяют профессором химии — Звание профессора было присвоено Ломоносову в июле 1745 г., а постройкой химической лаборатории он занимался в 1748 г.

Текст печатается по изд.: Штелин Я. [Конспект похвального слова Ломоносову, написанный Штелиным в 1765 г.] / Публ. и примеч. Г. Е. Павловой // М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 24–27.

2. Н. И. Новиков

Ломоносов Михайло Васильевич. 1772 г.

Ломоносов Михайло Васильевич [1711–1765], статский советник, императорской Санктпетербургской Академии наук профессор, Стокгольмской и Бононской член. Родился в Колмогорах в 1711 году от промышленника рыбных ловлей. Юные лета проводил с отцом своим, ездя на рыбные промыслы; но, будучи обучен российской грамоте и писать, прилежал он более всегда по врожденной склонности к чтению книг. И как по случаю попалася ему псалтырь, преложенная в стихи Симеоном Полоцким, то, читав оную многократно, так пристрастился к стихам, что получил желание обучаться стихотворству. Почему стал он наведываться, где можно обучиться сему искусству; услышав же, что в Москве есть такое училище, где преподаются правила сей науки, взял неременное намерение уйти от своего отца. К сему его побуждало и упорное желание его родителя, дабы женить его по неволе. Вскоре потом исполнил он свое намерение: оставил дом родительский, пришел в Москву и вступил

в Заиконоспасское училище, в котором с великим прилежанием обучался латинскому и греческому языкам, риторике и стихотворству.

В 1734 году взят он был из одного училища в императорскую Академию наук и отправлен в 1736 году студентом в Германию. По приезде в Марбург, что в Гессенской земле, поручен он был с товарищами своими Райзером и Виноградовым, наставлениям славного барона Вольфа. В Марбурге пробыл он четыре года, упражняясь в химии и в принадлежащих к ней науках. Потом поехал в Саксонию и там под смотрением славного химика Генкеля, осмотрел все горные и рудокопные работы, в горном округе производимые. Наконец возвратился он в Санктпетербург в 1741 году студентом же.

Около сего времени оказал он первые опыты столь гремевшего не только в России, но и в чужестранных областях лирического стихотворства, сочинив торжественную оду и несколько потом других. Между тем более всего прилежал к химии и к прочим ее частям и столько во оной успел, что от императорской Академии наук поручено ему было находящийся при Кунсткамере минеральный кабинет привести в порядок. Г. Ломоносов исполнил порученное ему дело с таким искусством, прилежанием и исправностию, что Академия, уважая его знание и труды, произвела его адъюнктом в 1742 году.

По произведении его продолжал упражняться он в химии; а в 1745 году, по указу из Правительствующего Сената, основанному на свидетельствах всех членов Академии наук, произведен он был профессором химии.

В 1751 году г. Ломоносов пожалован был коллежским советником. В 1752 году по данной ему привилегии учредил он бисерную фабрику и начал упражняться в мозаике; и как в России первый был он изобретатель мозаического искусства, то и поручено ему было трудиться в составлении большой мозаической картины, представляющей знаменитейшие дела Петра Великого. Г. Ломоносов окончал сей труд российскими материалами и мастерами, без всякой помощи от иностранных. К составлению сей картины изобрел он все составы и разные махины, и оную сделал такой величины, какой мозаической картины по сие время в целом свете еще не бывало.

В 1751 году февраля 13 дня определен он был членом в академическую Канцелярию; а в 1760 году февраля 14 дня поручены в полное его смотрение академическая гимназия и университет.

1764 года в декабре месяце г. Ломоносов пожалован был статским советником, в котором чину и пробыл он до кончины своей, воспоследовавшей 1765 года апреля в 4 день к великому сожалению всех любителей словесных наук. Тело его с богатою церемониею погребено в Александро-Невском монастыре императорским иждивением, а на гробе его поставлен мраморный столп иждивением покойного канцлера графа Михайло Ларионовича Воронцова, со следующими российскою и латинскою надписями:

НАДПИСИ НА НАДГРОБНОМ ПАМЯТНИКЕ ЛОМОНОСОВА,
СОЧИНЕННЫЕ ШТЕЛИНЫМ

В ПАМЯТЬ
СЛАВНОМУ МУЖУ

МИХАИЛУ
ЛОМОНОСОВУ,

РОДИВШЕМУСЯ В КОЛМОГОРАХ
В 1711 ГОДУ.
БЫВШЕМУ
СТАТСКОМУ СОВЕТНИКУ,
ИМПЕРАТОРСКОЙ САНКТНЕТЕРБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
ПРОФЕССОРУ,
СТОКГОЛЬМСКОЙ И БОНОНСКОЙ
ЧЛЕНУ,
РАЗУМОМ И НАУКАМИ ПРЕВОСХОДНОМУ,
ЗНАТНЫМ УПРАЖНЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВУ
СЛУЖИВШЕМУ,
КРАСНОРЕЧИЯ, СТИХОТВОРСТВА
И
ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ
УЧИТЕЛЮ,
МУССИИ ПЕРВОМУ В РОССИИ БЕЗ РУКОВОДСТВА
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ,
ПРЕЖДЕВРЕМЕННУЮ СМЕРТЮ ОТ МУЗ
И ОТЕЧЕСТВА, НА ДНЯХ СВЯТЫЯ ПАСХИ
1765 ГОДА ПОХИЩЕННОМУ,
ВОЗДВИГ СИЮ ГРОБНИЦУ
ГРАФ
МИХАИЛ ВОРОНЦОВ,
СЛАВЯ ОТЕЧЕСТВО С ТАКОВЫМ ГРАЖДАНИНОМ
И ГОРЕСТНО СОБОЛЕЗНУЯ
О ЕГО КОНЧИНЕ.

* * *

VIRO CELEBERRIMO,

MICHAELI LOMONOSOW,

KOLMOCORODI NATO, ANNO MDCCXI.
AUGUSTAE RUSSIARUM IMPERATRICIS
CONSILIARIO STATUS,
ACADEMIAE SCIENTIARUM
PETROPOLITANAE
PROFESSORI PUBLICO ORDINARIO,
HOLMENSIS ET BONONIENSIS SOCIO,
QUI INGENIO EXCELLUIT ET ARTIBUS,

PATRIAE DECUS EXIMIUM:
ELOQUENTIAE, POESEOS
ET
HISTORIAE PATRIAE PRAECEPTOR.
METRI RUSSIGI INSTITUTOR,
TRAGEDIARUM IN VERNACULA AUCTOR,
PRIMUS MUSIUI OPERIS IN RUSSIA
PICTOR AUTODIDACTOS.
PRAEMATURA MORTE MUSIS
ATQUE PATRIAE FERIIS PASCHATOS MDCCLXV SCRIPTIS
ET
OPERIBUS OBLINIONI EREPTUS.
TALEM CIUEM CRATULANS PATRIAE
OBITUM EJUS LUGENS
MICHAEL COMES A. WORONZOW
POSUIT.

* * *

Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого учения. Сколь отменна была его охота к наукам и ко всем человечеству полезным знаниям, столь мужественно и вступил он в путь к достижению желаемого им предмета. Стремление преодолеть все случавшиеся ему в том препятствия награждено было благополучным успехом. Бодрость и твердость его духа оказывались во всех его предприятиях; начав учиться иностранным языкам в таких уже летах, в коих многие за невозможность почитают в них упражняться, достиг он до великого совершенства. На немецком языке писал и говорил, как почти на своем природном; латинский знал очень хорошо и писал на нем; французский и греческий разумел не худо; а в знании российского языка, яко его природного и им много вычищенного и обогащенного, почитался он в свое время в числе первых. Слог его был великолепен, чист, тверд, громок и приятен. Предприимчивость сколь часто бывает в других пороком, столь многократно ему приобретала похвалу. Он упражнялся во всех философических и словесных науках, в химии, с ее разными частями; а особливо прилежал к физике экспериментальной, которую и перевел на российский язык; в механике и в истории нашего отечества. Стихотворство и красноречие с превосходными познаниями правил и красоты российского языка столь великую принесли ему похвалу не только в России, но и в иностранных областях, что он почитается в числе наилучших лириков и ораторов. Его похвальные оды, надписи, поэма «Петр Великий» и похвальные слова принесли ему бессмертную славу. Нрав имел он веселый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки; к отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал упражняющихся во словесных науках и ободрял их; во обхождении был по большей части ласков, к искателям его милости щедр; но при всем том был горяч и вспыльчив. Сочинения его следующие: две части разных стихотворений содержат в себе духовные и похвальные оды, надписи, две песни героической поэмы

«Петр Великий», похвальные слова и другие стихотворения; российская грамматика, риторика, краткой российской летописец, первая книга древней российской истории, краткое понятие о физике, металлургия, две трагедии, «Тамира и Селим» и «Демифонт», и ученые рассуждения о разных материях. Я не могу распространяться в похвале сему великому писателю; а довольно будет, когда сообщу из эпистол г. Сумарокова следующие стихи:

Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен...

И также стихи г. Поповского к его портрету:

Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил.
Открыл природы храм богатым словом россов;
Пример их остроты в науках Ломоносов.

Из сочинений его переведены на иностранные языки следующие: грамматика и российская история на немецкий; утреннее и вечернее размышления о величестве божием на французский; похвальное слово Петру Великому перевел он сам на латинский язык. Г. Ломоносов имел переписку со многими учеными людьми в Европе. Библиотека его и манускрипты по смерти его куплены его сиятельством графом Григорием Григорьевичем Орловым.

Николай Иванович Новиков (1744–1818) — писатель, журналист, книгоиздатель. «Опыт исторического словаря о российских писателях» (СПб., 1772) был первым российским словарем писателей и включал 317 имен. Статья о Ломоносове, опубликованная в «Опыте» Новиковым, была первой биографией Ломоносова на русском языке.

Текст печатается по изд.: Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. М.: Советская Россия, 1985. С. 284–287.

3. Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев. 1774 г.

Как если, слушатели, когда-либо похвально было упражняться в науках и ежели имя ученого человека споспешествовало к прославлению кого-либо, то, думаю, покойной г. Ломоносов довольно должен заслужить то человечеству толь лстящее право, чтоб быть по смерти в храме памяти; и если есть что-либо такое, что смертным неоспоримо навсегда пребывает, когда слава не отъемлема и труд не втуне сулит нам

бессмертие, кого должен я по праву здесь возносить, как не того, который показал отечеству своему здоровый вкус, далеко от сведения смертных сокровенный, и в сложении российском в стихах и в прозе, следуя древним великим творцам красноречия обоего рода, превзошел, помрачил, унизил тех, коих по тропам он следовал. Которой посвящая бдения свои труду и прилежанию и почасту лишаяся драгоценного смертным упокоения сна, стал всюду известен испытательствами природы физическими, химическими, историческими сочинениями. Которого громко и славно имя везде, где лишь россы известны; и что я говорю? В отдаленнейших странах, где мало иногда сведом слух великого государства, и там известен бывает великий стихотворец, историк или философ, все равно, в какой бы учености ни процветал он: и там, повторяю, известен он и славим. Итак, тот ли между одноземцев своих не найдет проповедателей славы своей, кто честен в чужих областях? Того ль не прославлять нам, кто нас прославил? Поистине, слушатели, думаю я исполнить долг благодарности, которым мы ему обязаны, когда вам кратко представляю сего великого человека.

А предпринимая хвалить витию сего, почто не могу я, слушатели, предстать пред вас с сим убеждающим красноречием, которым иногда трогал он сердца ваши? Слабый извещатель ревности моей, почто усердие мое, если скудно искусство мое, или почто малы силы мои, если усердие велико? Стократ бы лучше было для спокойствия моего, если б я зрел его живого, нежели похвалами бесполезными превозносил умершего. Поздно рожден, чтоб знать его; или единое утешение осталось мне исчислять достоинства его?

Щедрая природа, наделяя всех смертных вообще различными дарованиями, не поставила ему родиться от благородных родителей; не рода славою приобрел он себе честь и имя, но наукою и знанием. Отец его не был из тех, которые состоянием их в блещущем чине поставлены бывают, но коих труд и работа, звание и пища и которые не в сияющих златом и лазурем чертогах, но в убогих хижинах обитают. На берегах славной из рек российских, реки Северная Двина рожден он был. Крепок от природы, посредственного роста, велик разумом был он. Воспитание его не согласовало бы с таковою, кажется, славою; ибо какое воспитание мог дать отец ему? Но нет препятствия: великий ум скоро познавается; он вскоре понял, что не к такому роду жизни рожден он был, и вскоре явился между трудящимися в храме Минервином, и вскоре получил он председательство между русскими учеными; наконец, имев благоволение великой дочери Петровой, любим и почитаем всеми российскими вельможами, каковых не производил счастливой век милосердия Елисаветы, великих в разуме, достоинствах и просвещении, прославляем повсеместно всеми, которых слава российская тронуть может, и сожалеем всеми честными людьми, скончался он 1765 года на днях святых Пасхи.

Итак, пусть иные хвалят Гомера и Виргилия и из недостатка еще большей славы заменяют им древность и отдаленность времени, в котором они жили, некоторым неизвестным достоинством: но я, истинный истолкователь сердечных моих ощущений, не буду занимать другого чего-либо к славе российского стихотворца, как одни его заслуги; и поистине блажен тот, кто может быть похвалою самого себя и кто, не полагаясь на другие каковые-либо побочные подпоры, знатности, чести и могущества, тщетные мечты, которые боготворит подлость человеческая, но так как мрамор, кото-

рый не принимает другой какой краски и заемлет от себя самого блеск и сияние, не может постыдиться дел своих. Таков-то, слушатели, был г. Ломоносов! Того ради, чем меньше благородное произведение земли, сияющий алмаз, требует художничей руки, тем и я в описании моем не стану прибегать к хитросплетенным чертам риторского знания, ведая, что я не иначе могу заслужить благоволение ваше, как держась единой токмо истины, и что она одна может быть украшением слова моего.

Редко и почти необычайно успеть кому-либо в двух или больших вещах; редко, говорю я, мог кто быть воином и градоправителем, так что иногда тот, кто прежде был великим воином, стал быть худым предводителем. И поистине опыт сей, кажется, сделался общим законом природы; однако в г. Ломоносове не имел он своего действия: ибо он был вместе философом, стихотворцем и витиеу. Таковые и столь многие дарования не токмо делают его всякой похвалы достойным, но и тем самым далеко пред прочими возвышают. Каков в Ливийских палящих степях Феникс единствен токмо во всей природе пребывает, не инак, господа, и Ломоносов, один, немного в свете их. Когда б позволено было красноречию считать черты свои с стихотворством и если бы не в ограниченной пределью постоянной умеренности заключалось оно, сказал бы я, может быть, что заботливая природа, производя его, лишила дарований других, чтобы сложить то вместе и одарить его всеми своими щедростями; ибо и поистине чего ему недоставало? Глубокого ль философического знания! Прочти им в Академии говоренные речи, металлургию и прочие физические сочинения. Красноречия ль? Но оно повсюду во всех его творениях, аки бы некоторой благовонной елей пролиенно. Чистоты ль слога и подробного грамматического знания? Но он сам в том служил примером каждому, кто либо ни похощет вникать во все тонкости российского обширного языка. Стихотворческой ли пышности? Возьми его оды, где бурный дух его носился в облаках: там всякое слово есть новый гром, и едва робкий слух внимает вещание его, уже он прелетает воздушные страны, свергается в тенар, восходит на Олимп и влечет с собой внимающих. Я умалчиваю здесь о творениях его, более бы достойнейших быть изданными в свет, где б усматривались великие его намерения, проницание божественного ума. Где б явился в удивленных очах многочисленных сограждан не один в нем стихотворец, не один Вития, не один природы испытатель, мудрец и мира гражданин; но честный человек, сын отечества, ревнитель добрых дел, рачитель общественного блага, росс и именем и делом. Но дерзко б было и славе великого мужа не полезное желание таковое, ибо все, что ни делает великий человек для блага общества, уже должен был делать и всякий гражданин, наперед обязывается жертвовать силами, честью, кровию, жизнью за государя, отечество и вольность.

Димитрию в Афинах поставлено было триста и шестьдесят столпов, и в один день низринуты и опровержены были они; едиными столпами идут бесславие и честь, и кто возносится оною, тот навеки недостойным ее делается. Но, о! слушатели, колико несравненно более должны мы воздвигнуть столпов г. Ломоносову, которые б ненарушимы пребыли даже по поздних потомков и возвестили бы им благодарность и признание века того, в котором жил он, в котором под осенением великия монархини растут и возвышаются науки, Петром Великим в России основанные, и от которых прозябнет иногда спокойствие и тишина целого государства. О! Россы! желание

мое исполняется, и оправдал меня муж, любивший науки и которому рок не для ино-го чего позволил начать дело то, кажется, как для поощрения других к продолжению похвального труда. Уже возвышается крепкий мрамор на холодном прахе пораженного Вития; изображается незагаданными чертами: здесь лежит Ломоносов, довольная похвала! Довольное благодеяние! Художник некто Стазикрат предлагал бывшему тогда великому Александру изтесать изображение его из Афонской высокой горы, которое бы рукою одною держало многочисленный град, другую быстрюю ниспускала бы реку. Но нам нет нужды прибегать к вещам, толь отдаленным для прославления Ломоносова; нам будет гроб его Афонскою горою, и слава его множайшими проповедывателями распрострется, как сколько есть обитателей единого града, а слух его быстрее всякия реки в подсолнечной промчится.

Но ревность моя к славе российского стихотворства далеко меня от предмета моего теперь отвращает: я мнил вам, слушатели, представить просто великого сего человека; описать вам одну лишь жизнь его, одну довольную похвалу, которая для г. Ломоносова быть может; но вместо того невольник восторга, который меня похищает, исчисляю я одни лишь похвалы его, воздвигаю ему одни лишь столпы бессмертия и вместо того, чтоб описывать дела его, описываю великость их, вместо того, чтобы исчислять заслуги его в учености российской, исчисляю я пользы, от них происшедшие, вместо того, чтобы представить в нем российского Гомера, российского Пиндара или, лучше и справедливее сказать, творца российского Парнасса, удовольствуюсь сказать просто, что все то был он один, кратко не исчитая многочисленных причин, описываю я одни происшедшие от оных действия. А все то от чего происходит? Красноречивейший из смертных, сам г. Ломоносов признался в том, что большее обилие слов язык наш являет тогда, когда вещь, которую описывает, умеренна, когда предмет его не довольно поражает и когда он может еще изъяснить его; а если кто, как я, понимает довольно обширность вещи, которую он обнимает, когда она удивляет его, когда она его заставляет признаться, что нет довольных слов к изъяснению ея, тот легко извинит меня, когда я средь плодоноснейшей материи, средь пространныйшего поля, недостаточествую и немею.

Ибо какие пределы иметь должно слово мое, когда причина его беспредельна, когда ни коли не могу принять счастливого упования: теперь похвалил я в нем все довольно и по достоинству, и когда ни коли не могу согласиться отстать и заключить по праву с словом моим похвалы его. За тем, что пусть отважным неким дерзновением подышу я возвыситься выше сил моих, оставлю тропу, которую топчет простой народ, и счастливым усилием преобразуя законы завистливой судьбы. Пусть прилеплюсь я к единому из званий, составляющих г. Ломоносова, пусть изберу я в нем то, чем более восхищается душа моя: божественное стихотворство! Я здесь тебе поставлю столп чести и почтения, здесь принесу я в дар тебе курение, паче прочих любезнейшее, хвалу тому, кого и само довольно похвалить не можешь. Мне мнится, восхищаюсь я даже до выспренных небес, уже рассыпающийся по отдаленнейшим облакам громовых внемлю звук ударов, от востока до запада солнца вижу я простирающиеся огненные бразды и прелетающие в единое мгновение пространство воздушных. Я слышу некий сладостный шум, аки шум ниспадающей реки. Я слышу бессмертного Ломоносова, гласящего в старости своей: внемлите все пределы света и ведайте, что может бог.

Повелители народов, наместники божеской власти, судии, градоначальники, притеки-те на глас гремящего Витии. Научитесь в стихах его должности своей: приникните, и се новый Амфион поет и в струны ударяет: пленяются древеса от звука гласа его, прельщаются дубравные скоты, восхищаются птицы парящие, воспламеняются струи влажные, и течение свое реки пресекают, и самые камни приемлют чувство и повинуются велению. В нем есть все драгоценно: здесь живность, там плавкость, инде нежность, везде громкость, везде великолепие, великость духа, благородство сердца, поражающия мысли, непрерывное согласие, порядок в расположении, чистота в изъяснении; словом сказать, все, что ни сделано тронуть сердца человеческие, подвигнуть души и наши, удивить умы всех нас, есть в Ломоносове необходимое следствие приятных тех восторгов, в которых иногда забывалась душа его.

Что скажу я о сем труде, где, переставая быть Пиндаром, становился он Виргилием, о сем труде, сужденном быть опытом искусства его, недоброхотным роком в начале его преторженном? Какой мог быть более достойный стихотворец для достойнейшего героя! Если творец Генриады по праву заслужил имя французского Гомера, менее ль достоин Ломоносов иметь то же название у своих единоземцев? Нет, поистине нет: не по изнеможению сил своих оставил он труд свой несовершенным; ни преклонность века его, ни зависть сильных сопостать не воспящали усердию его. Бедственность, председательствующая всем действиям человеческим, смерть, достоинств не разбирающая, пресекала вкупе с намерениями живот его. А вы, живые, завидующие славе мертвого, не будьте соперники Ломоносова, будьте подражатели его. Уже наступает тот час, где будет судить его справедливое потомство. Зависть не будет в состоянии затмевать заслуги его. Вотще восстанете вы против его, падение ваше посрамит вас, потомство презрит усилия ваши, а достоинство будет жить вовеки. Дерзайте, как он, воспеть Великого Петра, испытайте силы свои в сем великом предприятии, превзойдите Ломоносова, если можно, и тогда хулите его.

Пусть (по крайней мере положим так) описал я некоторую часть великости сего стихотворца; где останется Вития? Вития не в разности достоинства его, но может быть в разности времен Цицерону и Демосфену уступающий, ибо скажем сие для славы российского красноречия, в замыслах витиеватых речей, в громкости слога его предпочтительнее он обеим сим Витиям. Соединивший в себе обширность и сладость первого с краткостью и сильным выражением последнего, не больше ль есть каждого из них особенно? И поистине Цицерон, несмотря на все красноречие свое, худо защитит мог Милона пред судом обвиненного; что ж бы сделал он, если б должно было ему восхвалить героя, целому миру известного? Возвеличить монархию, благодеяния своими целый мир удивляющую? Где б взял он слова, довольно достойные величества причины таковые? Не можно бы было ему здесь, как прежде, льстить Кесарю и убожать Помпея; уже долженствовало бы ему согласоваться с вещанием целого мира. А сие есть с силами смертного малосообразующее. Все, что ни сплетала баснословная Еллада к возвеличию витязей своих, все сие, говорю я, есть пред истинными делами Великого Петра, аки малая былинка пред кедром необъятным. И так уже должен он был избрать себе путь особенный, путь, в котором вкупе странствовал он и предводительствовал сам себе. Такова есть обыкновенная стезя великих умов. Не помалу достигают они до степени высочайшей; не робкими и мед-

лительными стопами идут они по сим склизким и трудным стезям: но будучи менее ограничены, нежели прочие, переходят они в единое мгновение от первого шага до последнего и уже оканчивают труд свой, когда другие оный начинают.

Вещай, сладкоречивый Ломоносов! Вещай похвалу свою, ибо твоему красноречию довлеет похвалить тебя. Тщетны усилия мои, тщетно усердие мое: да воспоминание того, что ты был, дополняет то, чего я не могу сказать.

Михаил Никитич Муравьев (1757–1807) — писатель. Его трактат «Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову» (1774) — одна из первых попыток в российской словесности определить, в чем именно состоит «великость» Ломоносова-поэта.

...явился между трудящимися в храме Минервином — Минерва — богиня мудрости; храм Минервин — Академия наук; имеется в виду деятельность Ломоносова в Петербургской Академии наук.

...благоволение великой дочери Петровой — императрица Елизавета Петровна (1709–1761), дочь Петра I.

...в Ливийских палящих степях Феникс единствен — здесь: под Фениксом подразумевается Ломоносов; Феникс — сказочная птица, по представлениям древних, сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла обновленной.

...восходит на Олимп и влечет с собой внимающих — имеется в виду основной одический прием: поэт в состоянии восторга поднимается на священную гору, откуда простирает свой взор через пространства и времена и рассказывает об увиденном и услышанном в своих стихах.

...Димитрию в Афинах — Деметрий Фалерский, афинский философ, государственный деятель (350–283 гг. до н.э.), управлял Афинами в 317–307 гг. до н.э. В честь него в Афинах было установлено 360 медных статуй (по одной на каждый день года). После изгнания Деметрия Фалерского из Афин (307 г. до н.э.) все статуи, кроме одной, были либо утоплены в море, либо переплавлены на ночные горшки.

...некто Стазикрат предлагал бывшему тогда великому Александру изтесать изображение его из Афонской высокоя горы — в античности гора Афон посвящена Зевсу; Стазикрат — греческий зодчий, современник Александра Македонского (356–323 гг. до н.э.).

...внемлите все пределы света и ведайте, что может бог — первые строки ломоносовской оды «Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, на преславное ея восшествие на всероссийский императорский престол» 1762 г.

...новый Амфион — здесь: Ломоносов; Амфион в древнегреческой мифологии царь Фив, прославленный поэт и музыкант.

...творец Генриады — Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778), французский писатель и философ, автор эпической поэмы «Генриады».

...в разности времен Цицерону и Демосфену уступающий — Цицерон и Демосфен — знаменитые античные ораторы.

...льстить Кесарю и ублажать Помпея — намек на двойную политическую игру древнеримского оратора Цицерона, выступавшего на стороне как консула Помпея, так и будущего диктатора Цезаря.

...сплетала баснословная Еллада — имеется в виду мифология Древней Греции; баснословие — в языке XVIII века: мифология.

Текст печатается по изд.: Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев. СПб., 1774.

4. Я. Я. Штелин

Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелиным. 1783 г.

[Примечание Штелина на заглавии в тетради:] Эти анекдоты, по приказанию княгини Дашковой, президента Академии наук, были переведены на русский язык и, с исключением некоторых менее важных мест, напечатаны под заглавием: Жизнь Ломоносова при первом томе его сочинений, изданных Академиею в 1784 году.

Ломоносов родился на острове, лежащем на Северной Двине, недалеко от Холмогор, в Куростровской волости, в 1711 году.

Когда он подросток, отец его, рыбак, брал его несколько раз с весны до поздней осени с собою на рыбную ловлю, в Колу, в Белое и даже в Северное море, до 70 градусов сев. широты, о чем он сам припоминал впоследствии. По 10 году, в зимнее время учился он читать и писать у священника своего села, который, не зная латинского языка, выучил его только чтению церковных книг, но возбудил его любознательность рассказами про Заиконоспасский монастырь в Москве. Ломоносов выучился также исчислению, впрочем без объяснения правил.

На 17 году, зимою, в ночь, ушел он тайно из отцовского дома, вслед за обозом с рыбою, который отправлялся в Москву. Он догнал его на другой день, в 80 верстах от своей деревни, на большой дороге. Приказчик не хотел взять его с собою, но он просил со слезами дать ему случай взглянуть на Москву.

В Москве, где у него не было ни души знакомых, спал он первую ночь на возу. Проснувшись на заре, он стал думать о своем положении и с горькими слезами пал на колена, усердно моля бога ниспослать ему помощь и защиту. В то же утро пришел господский дворецкий на рынок закупать рыбы. Он был родом с той же стороны и, разговорившись с Ломоносовым, узнал его. Он приютил его на господском дворе между дворнею.

Этот дворецкий просил своего приятеля, монаха из Заиконоспасского монастыря, исходатайствовать у архимандрита для Ломоносова позволения вступить в семинарию.

Между тем его домашние в деревне искали его по всей округности и, не найдя, считали без вести пропавшим, пока наконец, с последним зимним путем, возвратился из Москвы тот обоз, и приказчик сказал отцу Ломоносова, что его Михайло остался в Москве, в монастыре, и просит его об нем не сокрушаться.

В монастыре Ломоносов учился с большим прилежаньем и делал удивительные успехи. В свободное от учения время сидел он в семинарской библиотеке и не мог начитаться. В первое полугодие был он переведен из первого класса во второй

и в тот же год в третий. Кроме латинского, он выучился греческому языку и горел желанием изучить физику и математику; но не имел к тому случая. Так как жажда его к познаниям не могла быть вполне удовлетворена в семинарии, то он просил начальников отослать его на год в Киев для изучения философии, физики и математики. Там нашел он одни сухие бредни вместо философии, но совершенно никаких материалов для физики и математики. А потому не остался и года в этой Академии, где за недостатком других книг прилежно перечитывал он летописи и творения св. отцов. Лишь только возвратился он в свою семинарию, как пришло туда из Петербургской Академии требование о присылке двенадцати семинаристов для дальнейшего усовершенствования в науках. Обрадованный этим желанным известием, он тотчас стал проситься в Академию. В 1734 г. был он послан с 5 товарищами из монастыря в Петербургскую Академию.

Там занимался он с большим старанием физикою и математику, также и поэзией, хотя ничего не печатал, и в особенности любил заниматься минералогиею и физическими экспериментами.

Весной 1736 года Академия назначила послать его, вместе с его товарищем Виноградовым, в Марбург, к знаменитому философу и математику Христиану Вольфу, от которого он через три года, по его рекомендации, отправился в Фрейберг к горному советнику Генкелю для изучения горного дела и металлургии. Через несколько времени возвратился в Марбург, в университет. В первое свое пребывание там, будучи студентом, он скоро выучился говорить и читать по-немецки, для чего, впрочем, он еще в Петербурге в гимназии, приобрел хорошие приготовительные познания. В особенности любил он стихотворения Гюнтера и знал их почти наизусть. По тому же размеру стал он сочинять русские стихи. Первым его опытом в этом роде (в 1739) была торжественная ода на взятие Очакова. Он послал ее к тогдашнему президенту Академии Корфу, который отдал ее на рассмотрение Адаурову и Штелину.

Мы были очень удивлены таким, еще небывалым в русском языке размером стихов и нашли, между прочим, что эта ода написана в Гюнтеровом размере и именно в подражание его знаменитой оде: *Eugen ist fort! Ihr Musen nach etc.*, и даже целые строфы были из нее переведены.

Она была напечатана при Академии, поднесена императрице, Анне, роздана при дворе, и все читали ее, удивляясь этому новому размеру. (Тогда Сумароков еще и не думал о сочинении стихов, тем менее таким размером; но все-таки впоследствии, в царствование императрицы Елисаветы, он хотел присвоить себе имя и честь первого автора, который ввел этот размер в русском стихосложении).

Около этого времени (1740) Ломоносов тайно женился в Марбурге на дочери своего хозяина (марбургского гражданина, ремеслом портного), у которого жил он несколько времени, и там же родилась у него первая дочь.

В продолжение своего там пребывания он содержал жену и дочь своим жалованием, которое получал по третям из Петербургской Академии.

По его просьбе о дозволении ему усовершенствовать себя в горном деле и в металлургии Академия позволила ему посетить рудники в Гессене и Гарце (см. протокол акад. Канцелярии).

В Гессене познакомился он с знаменитым металлургом и горн. советн. Крамером, который там печатал свое превосходное сочинение о химии. С ним прожил он несколько времени, прилежно занимаясь своим предметом. Везде посещал он рудоплавильные заводы и плавильни, и провел там все лето.

Зимой возвратился он в Марбург и прожил тут до весны 1741 года.

От ничтожных средств к содержанию, от роскошной иногда жизни и от необходимых издержек на содержание своего тайного семейства он впал в бедность, в долги и в такое отчаянное положение, из которого не знал, как освободиться. Из опасения попасть в тюрьму он решился тайно убежать в Голландию, хотя бы даже пришлось ему дорогой просить милостыни (потому что от полученного им незадолго пред тем третьего жалованья у него не осталось ни гроша), а там сесть на корабль и отправиться в свое отечество.

Начало этого предприятия исполнил он, не сказав никому ни слова в Марбурге. По дороге в Дюссельдорф, в расстоянии двухдневного пути от Марбурга, зашел он на большой дороге в местечко, где хотел переночевать в гостинице. Там нашел он королевско-прусского офицера, вербующего рекрут, с солдатами и с несколькими новобранцами, которые весело пировали. Наш путешественник показался им приятною находкою. Офицер вежливо пригласил его без платы поужинать и попить в их компании. Не забыли также расхвалить ему королевско-прусскую службу, и малопомалу уговорили молодого странника вступить в нее. Они так напоили его, что он на следующий день ничего не мог себе припомнить, что происходило с ним в продолжение ночи. Проспавшись, увидел он только, что у него на шее красный галстук, который он тотчас же снял, и в кармане несколько прусских монет. Офицер же называл его славным молодцом, которому, наверное, посчастливится в королевско-прусской службе; солдаты называли его товарищем. «Я ваш товарищ? — сказал Ломоносов, — я про то ничего не знаю; я русский, и никогда не был вашим товарищем!» — «Что? — возразил вахмистр, — ты им не товарищ? Разве ты проспал или уж забыл, что ты вчера при нас принял королевско-прусскую службу, ударил по рукам с господином поручиком, взял задаток и пил с нами здоровье твоего и нашего полка? Будь же бодрее, друг кавалерист, и не раскаивайся; тебе у нас понравится; ты красивый молодец и верхом будешь очень хорош на параде».

И так наш бедный Ломоносов стал королевским прусским рейтаром и дня через два вместе с другими рекрутами, набранными в окрестности, был отправлен в крепость Везель.

С этой минуты он твердо решился бежать при первом удобном случае. Его провожатые, казалось, заметили в нем еще дорогою это желание, и потому в крепости Везеле с самого начала стали присматривать за ним строже, чем за прочими рекрутами. Заметив это, он притворился очень довольным, как будто он получил величайшую Охоту к военной службе. К его счастью, он не был, как большая часть рекрутов, помещен в городе на квартирах, но оставался в караульне, где должен был спать на скамейке. Так как эта караульня находилась близко от вала и заднее окно выходило прямо на вал, то он и решился воспользоваться этим и другими удобствами к своему предположенному бегству, которое он через несколько недель смело предпринял и благополучно исполнил. Он каждый вечер заранее ложился

спать на свою скамейку, так что высыпался довольно, когда его товарищи едва только засыпали, и всегда искал случая убежать. Однажды, проснувшись вскоре после полуночи, он заметил, что все прочие спали глубоким сном; он решился с величайшею осторожностью вылезти из заднего окна и взобраться на вал. Тут в темноте он пополз до вала на четвереньках, чтоб часовые, расставленные не в дальнем расстоянии один от другого, не могли его заметить, спустился в ров, переплыл чрез него без шума, взобрался на четвереньках на вал и опять спустился в ров и переплыл его; потом вскарабкался на контрескарп, перелез через частокол и палисадник и с гласиса выбрался в открытое поле. И так самое трудное, под защитою ночного мрака, было благополучно окончено: теперь его спасение зависело от достижения прусской границы; но до нее оставалось более немецкой мили; и вот он в мокрой солдатской шинели, повязав шею носовым платком вместо красного галстука, собрал все свои силы, чтобы до рассвета достигнуть границы. Едва совершил он четверть пути, как стало уже рассветать, и вскоре после того он с трепетом услышал с крепости пушечный выстрел, обыкновенный сигнал о бежавшем дезертире. Этот угрожающий звук заставил его удвоить шаги, и он побежал из всех сил, оглядываясь по временам; он увидел даже, хотя и в далеком еще расстоянии, кавалериста из крепости, скачущего за ним во весь опор. Но прежде нежели он мог догнать его, наш смелый беглец достиг Вестфальской границы и возблагодарил бога за благополучное свое спасение от прусской власти. Даже и тут, в вестфальской деревне, он не решился остановиться, а пошел в ближний лес, где в его густом кустарнике он снял с себя мокрое платье, чтоб высушить его, а сам между тем лег и проспал до сумерек. Вечером он с новыми силами пустился в путь, выдавая себя везде за бедного студента, и пробрался таким образом через Арнгейм в Утрехт, а оттуда в Амстердам. Здесь импер. русский агент Олдекоп принял его, как русского, претерпевшего на дороге несчастье, дал ему другое платье и отправил в Гагу к русскому посланнику графу Головкину. Этот вельможа снабжал его несколько дней всем нужным, дал ему денег, необходимых на дорогу, и отправил его обратно в Амстердам, где он скоро нашел случай сесть на корабль, отправляющийся в Петербург. Еще до своего отъезда он написал жене своей, оставленной им в Марбурге, известил ее о прибытии своем в Голландию к русскому посланнику графу Головкину и просил ее не писать к нему до тех пор, пока он не известит ее о своей дальнейшей судьбе и о месте своего пребывания. Но после того он долгое время не писал ей, вероятно потому, что его обстоятельства в Петербурге (куда прибыл он благополучно в «—» месяце 1741, и после различных доказательств своих способностей и познаний получил звание адъютанта при Академии) были такого рода, что он не мог еще решиться выпявить в Петербурге о своем супружестве, которое никому не было там известно, выписать к себе жену и ребенка и содержать их своим скудным жалованьем адъютанта, в таком дорогом месте, как Петербург.

Дорогою, когда он плыл морем в свое отечество, случилось с ним происшествие, которое глубоко тронуло его и которого он никогда не мог забыть.

Он проснулся после странного сновидения, в котором он очень ясно видел своего отца, выброшенного кораблекрушением и лежащего мертвым на необитаемом, не известном острове в Белом море, не имевшем имени, но памятном ему с юности, по-

тому что он некогда был к нему прибит бурей с отцом своим. Лишь только он приехал в Петербург, как поспешил справиться об отце своем на бирже у всех прибывших из Архангельска купцов и у холмогорских артельщиков и наконец узнал, что отец его отправился на рыбную ловлю еще прошлой осенью, и с тех пор не возвращался, а потому и полагают, что с ним случилось несчастье. Ломоносов так был поражен этим известием, как прежде своим пророческим сном. Он дал себе слово отправиться на родину отыскать тело своего несчастного отца на острове, известном ему с юности и представившемся теперь ему во сне со всеми подробностями и признаками, и с честью предать его земле. Но так как занятия его в Петербурге не позволили ему исполнить это намерение, то он с купцами, возвращавшимися из Петербурга на его родину, послал письмо к тамошним родным своим, поручил своему брату исполнить это предприятие на его счет, описал подробно положение острова и просил убедительно, чтоб тамошние рыбаки, отправившись на рыбную ловлю, пристали к нему, отыскивали на нем тело отца его и предали его земле. Это было исполнено еще в то же лето: партия холмогорских рыбаков пристала к этому дикому острову, отыскала мертвое тело на описанном месте, похоронила его и взвалила большой камень на могилу. Известие о совершенном исполнении его желания, полученное им в следующую зиму, успокоило его всегдашнюю тайную печаль, причину которой он только впоследствии сообщил другим.

С этого времени он стал опять весел, с новою охотою и необыкновенным прилежанием стал заниматься науками и писал различные сочинения по части физики и химии, которые обратили на себя внимание членов Академии, показав его гениальный взгляд на науку, и проложили ему дорогу к званию профессора химии и металлургии.

Между тем его оставленная в Марбурге жена не получила никаких известий о его местопребывании и в продолжение двух лет не знала, куда он девался. В том неведении и беспокойстве обратилась она (1743) к импер. российскому посланнику в Гаге, графу Головкину, по первому письму своего мужа, присланному им по прибытии его в Голландию. Она убедительно просила графа, который два года тому назад так милостиво его принял, известить ее, для успокоения ее глубокой горести, куда отправился и где теперь находится муж ее, студент Ломоносов. Притом она написала к нему письмо, в котором открывала ему свою нужду и просила его помочь ей сколько возможно скорее. Граф Головкин послал это письмо с своею реляциею к канцлеру графу Бестужеву и просил его доставить ему ответ. Граф Бестужев, не осведомляясь о содержании письма, ни о причине требуемого ответа, поручил статскому советнику Штелину передать его кому следует и доставить ему непременно ответ.

Никто и не воображал, чтоб Ломоносов был женат. Но он сам, полагая, что граф Головкин узнал все обстоятельства от его оставленной им жены, прочитал письмо и воскликнул: «Правда, правда, боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину; только мои обстоятельства препятствовали мне до сих пор писать к ней и еще менее вызвать ее к себе. Но пусть она приедет, когда хочет; я завтра же pošлю ей письмо и 100 руб. денег, которые попрошу передать ей». То и другое было отослано к посланнику в Гагу, а он немедленно переслал все в Марбург, и в том же году жена его с ребенком и в сопровождении брата приехала через Любек в Петербург к свое-

му обрадованному мужу, которого она нашла здоровым и веселым, в довольно хорошо устроенной академической квартире при химической лаборатории.

Что он в 1746 году получил звание профессора химии и экспериментальной физики; совершенно перестроил академическую лабораторию, и устроил ее в новейшем и лучшем виде; делал много экспериментов и открытий; какие сочинения читал он в академических собраниях; какие прекрасные речи говорил он в честь Петра Великого и императрицы Елизаветы; какие превосходные стихи писал он по временам и какие книги издавал он, как например Риторику, Русскую грамматику, Руководство к горному искусству и к рудокопным заводам; какие трагедии писал он первый на русском языке и что издал он в свет о древней русской истории и проч., — все это можно подробно и обстоятельно видеть как в самих его сочинениях, изданных им в последовательном порядке, так и в протоколах академической Канцелярии и Конференции.

Его таланты и сочинения приобрели ему высочайшую милость императрицы, которая, в изъявлении своего благоволения, пожаловала ему довольно поместье Каровалдай при Финском заливе; он пользовался особенно благосклонностию многих вельмож русского двора, как например канцлера графа Воронцова и брата его сенатора графа Романа Ларионовича, камергера Ивана Ивановича и генерал-фельдцейхмстера графа Петра Ивановича Шувалова, гетмана и президента Академии графа Разумовского и многих других именитых особ государства; приобрел уважение многих славных ученых Европы и целых обществ, как например королевской Шведской Академии наук и знаменитой Болонской Академии, которая сделала его своим членом; наконец, сама императрица Екатерина II всемилостивейше признала его заслуги и, зная его особенные познания о внутреннем устройстве государства и о состоянии островов, лежащих далеко на север, благоволила потребовать от него письменные его сочинения об открываемых тогда островах на Камчатском и далее на Ледовитом море и проч. Все это не анекдоты, но всем известные дела, и следовательно, легко можно собрать подробнейшие о том известия.

Как справедливый анекдот, которого я сам был свидетелем, заслуживает быть упомянутым следующий: увидя в первый раз в жизни мозаическую работу — плачущего апостола Петра, — подаренную папою Климентом XIII графу Воронцову, пожелал он тотчас произвести подобную работу и в России. Он рассмотрел составные его части и в своей плавильной печи сплавил составные камни различных цветов и оттенков, составил особый цемент и удачно вылепил голову Петра Великого — первую мозаичную работу в России. После того, совершенствуясь постепенно в своем искусстве, предпринял он, наконец, изумительно огромное изображение Полтавской битвы (12 фут. в высоту и 8 в ширину), на котором лица были представлены в обыкновенный рост, назначенное для внутреннего украшения Петропавловского собора.

Есть много анекдотов о непримиримой ненависти ученого Ломоносова необразованному сопернику своему в стихотворстве Сумарокову, который при каждом случае старался оскорблять его. Вот один из них: камергер Иван Иванович Шувалов пригласил однажды к себе на обед, по обыкновению, многих ученых и в том числе Ломоносова и Сумарокова. Во втором часу все гости собрались, и чтобы сесть за стол, ждали мы только прибытия Ломоносова, который, не зная, что был приглашен

и Сумароков, явился только около 2 часов. Пройдя от дверей уже до половины комнаты и заметя вдруг Сумарокова в числе гостей, он тотчас оборотился и, не говоря ни слова, пошел назад к двери, чтоб удалиться. Камергер закричал ему: «Куда, куда? Михаил Васильевич! Мы сейчас, сядем за стол и ждали только тебя». — «Домой», — отвечал Ломоносов, держась уже за скобку растворенной двери. — «Зачем же? — возразил камергер, — ведь я просил тебя к себе обедать». — «Затем, — отвечал Ломоносов, — что я не хочу обедать с дураком». Тут он показал на Сумарокова и удалился.

Ломоносов умер на 3-й день Пасхи 1765 года. За несколько дней до своей кончины сказал Штелину: «Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь при конце жизни моей должен видеть, все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной».

К его великолепному погребению, на котором присутствовали с.-петербургский архиерей с именнейшим духовенством, некоторые сенаторы и многие другие вельможи, явился и Сумароков. Присев к статскому советнику Штелину, бывшему в числе провожатых, указал он на покойника, лежащего в гробу, и сказал: «Угомонился дурак и не может более шуметь!». Штелин отвечал ему: «Не советовал бы я вам сказать ему это при жизни». Ломоносов нагнал на него такой страх, что Сумароков не смел разинуть рта в его присутствии.

Граф Орлов выпросил у вдовы его оставшиеся после него бумаги, поручил секретарю Козицкому привести их в порядок и положить во дворце своем, в особой комнате.

Спустя несколько времени после его смерти канцлер граф Воронцов, высоко уважая его заслуги отечеству, захотел воздвигнуть ему памятник из белого мрамора и поставить на его могиле в Невском монастыре; он поручил статск. сов. Штелину сочинить подпись и рисунок к нему в флорентийском размере. То и другое было отослано графом в Ливорно, и на следующий год получен был памятник из каррарского мрамора, сделанный совершенно по рисунку, в том виде, как он теперь находится на кладбище вышеупомянутого монастыря.

Камергер граф Андрей Петрович Шувалов напечатал на его кончину прекрасную оду на французском языке, в которой были превознесены заслуги Ломоносова и унижены зависть и невежество Сумарокова.

Приведу один пример необыкновенного присутствия духа и телесной силы Ломоносова. Будучи адъюнктом Академии, жил он на Васильевском острове при химической лаборатории и мало имел Знакомства с другими. Однажды в прекрасный осенний вечер пошел он один-одинехонек гулять к морю по большому проспекту Васильевского острова. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться и он проходил лесом по прорубленному проспекту, выскочили вдруг из кустов три матроса и напали на него. Ни души не быдо видно кругом. Он с величайшею храбростию оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но даже долго не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что он весь в крови изо всех сил побежал в кусты; а третьего ему уж нетрудно было одолеть; он повалил его

(между тем как первый, очнувшись, убежал в лес) и, держа его под ногами, грозил, что тотчас же убьет его, если он не откроет ему, как зовут двух других разбойников и что хотели они с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить и потом отпустить. «А! каналья! — сказал Ломоносов, — так я же тебя ограблю». И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел своим собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полунагого матроса по ногам, так что он упал и едва мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечо узел, пошел домой с своими трофеями, как с завоеванной добычей, и тотчас при свежей памяти записал имена обоих разбойников. На другой день он объявил об них в Адмиралтействе; их немедленно поймали, заключили в оковы и через несколько дней прогнали сквозь строй.

«Анекдоты» Я. Штелины о Ломоносове в середине XIX в. были переведены с немецкого языка на русский Ф. Б. Миллером и впервые опубликованы М. П. Погодиным в журнале «Москвитянин» (1850. Ч. I. Отд. III. С. 1–14).

В 1734 г. был он послан с 5 товарищами из монастыря в Петербургскую Академию... — Ломоносов был направлен в Петербургскую Академию наук в числе 12 учеников Славяно-греко-латинской академии.

...подаренную папою Климентом XIII графу Воронцову... — Указанная Я. Штелиным мозаичная картину «Плачущий апостол Петр» была подарена Воронцову не Климентом XIII, а папой Бенедиктом XIV (1675–1758), покровителем и ценителем мозаичного искусства.

Ломоносов умер на 3-й день Пасхи 1765 года — Ломоносов умер 4 апреля 1765 г., на второй день Пасхи.

Текст печатается по изд.: Штелин Я. Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелиным. 1783 г. / Публ. и примеч. Г. Е. Павловой // М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 51–60.

5. А. Н. Радищев **Слово о Ломоносове. 1790 г.**

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невской монастырь, и долго гулял в роще позади его лежащей⁶⁴. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи, едва-едва ли на синем своде была чувствительна⁶⁵. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия, и равнодушия непоколеби-

⁶⁴ Озерки.

⁶⁵ Июнь.

мого, могло ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность. Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные, человеческия гордыни; но знаки желанья его жити вечно. Но се ли вечность, которая человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихи, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширных России; пускай яростный некий завоеватель, истребит даже имя любезного твоего отечества, — но доколе слово Российское, ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания, назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. — Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.

Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы, воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах... Рожденный от человека, которой не мог дать ему воспитания, дабы посредством оного, понятие его изострилось и украсилось полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная области недалеко их ремесла простирается; сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, — разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его — той сладости, которую он имел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он приял маловажное, но ключ учения — знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолубием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав, (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить должноствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобрести на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возглагола в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас

впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительской дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим камнем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника — покойная радости на отдохновение, ни зеленеющего убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нея воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваясь принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится и все излучины и отверстия свои, наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков, и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшия предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь воображений. Познанием чуждаго языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвоаем их понятия; и всех народов, и всех веков изобретения и мысли сочetoваем и приводим в единую связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света незревший, когда искусною глазооучителя рукою воссияет для него величество дневного светила, — быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живет обихших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъяслять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гонящегося за видом учения, везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога; какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподаанныя ему

в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика — верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподавала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим может быть ради изящности силы воображения, прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ея таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены денги. Злато и серебро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преобразены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только по истине, тогда возгорелась в сердце человеческого ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение — земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живой нисходил в могилу и разторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни наполовину, питаясь ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отравя, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. исполнил первый шаг; — что делаешь? — вопиет ему рассудок. — Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратии. Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желает ли снискать вящее искусство извлекати серебро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа, подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущии погребаются.

Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первой слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодо-

носною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений; что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огонь, проникнув в недра земные и встретив противоборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тшилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила и в первобытных металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, вспомнил алчбу и бедствие человекoв и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.

Упражнялся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию; что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацем, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что, когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первой всегда подает в сочетании слов пример, и речении, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуясь преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуму даровании, данном человеку для

сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей, посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется имя; изображение деяния — глагол. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи, служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оное происходит. Наконец Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.

Предпослав таковое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила русского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великой муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о русском слове суть многообразны; и ты считаешься в малоприятельном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим, в степях тернистых Геликона, показав им путь к красноречию, начертывая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из поднятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самая смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, сила доводов — в их остроумии. Удивляясь толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему вообра-

женю, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предпринял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.

Но если тщетной его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, — Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшая уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, — почто не могу сказать при каждой букве, — слышен стройной и согласной звон столь редкого, столь малого подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Привя от природы право неоцененное действовать на своих современников, привя от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают. Тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познании. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпийских играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псалмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкой предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? — Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоея души ко благодеяниям. Но позавидует не могущий вослед тебе идти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалось еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, — се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всеильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя пре-

жде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием сущности души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа, — и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.

Но если действие стихов Ломоносова могло размашистой сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного удара не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившись обильным велеречием похвальных твоих слов, возгрезит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаясь в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилось. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, — действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были; но слог их не был слог российской. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучаясь, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты призванный на торжественное благодарение, богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: «Восстани Петр, восстани»; когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалось всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою высшей одаренный, — тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезидущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и, если бы всемогущий восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращенно.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дееписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном; не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшая былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не согладал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близь удостоившегося наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истинною дерзающею на силу: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей». За то ли Ломоносова близь его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятнм. И, хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный пример на последование.

И так, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал: или только, распложая неистовое слово, возждаемся иступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первой виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительства и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда пронизателен в суждениях и что в самых одах своих вменял иногда более слов, нежели мыслей. Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящиеся горе образовались. Первый мах в творении всемогущ был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) — писатель, философ. «Слово о Ломоносове» — заключительная часть «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) Радищева.

Невской монастырь — Александро-Невская лавра в Петербурге (осн. 1713 г.).

Озерки — местность, расположенная за Невским монастырем.

Невское кладбище — Лазаревское кладбище на территории Александро-Невской лавры; на нем похоронен в 1765 г. Ломоносов.

Не столп, воздвигнутый над тлением твоим... — имеется в виду мраморный памятник на могиле Ломоносова, воздвигнутый М. Л. Воронцовым.

...обитель иноческих мусс... (т.е. монашеских муз) — речь идет о Славяно-греко-латинской академии, основанной в Москве в 1685 г.

Таков был Демосфен... — Радищев сравнивает Ломоносова со знаменитыми ораторами прошлого и современности: греком Демосфеном (384–322 гг. до н.э.), римлянином Цицероном (106–43 гг. до н.э.), англичанами Уильямом Питом Старшим (1708–1778), Эдмундом Берком (1749–1806), французом Оноре Мирабо (1749–1791).

Но ты, зревший самого Ломоносова... — обращение к митрополиту московскому Платону Левшину (1737–1812).

Дееписатель — историк. Радищев был невысокого мнения об исторических трудах Ломоносова: он не удостаивает Ломоносова славы римского историка Тацита, историков-просветителей Рейналя и Уильяма Робертсона.

Маркграф Андреас Сигизмунд (1709–1802) — немецкий химик.

Ридигер — вероятно, Андреас Рюдигер (1673–1731), немецкий ученый.

Франклин Вениамин (1706–1790) — американский государственный деятель, ученый.

Всесвятское — село под Москвой.

Текст печатается по изд.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб.: Наука, 1992 (Серия «Литературные памятники»). С. 115–123.

6. А. С. Пушкин Ломоносов

В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *росского Пиндара*. Достоинно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматiku, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:

Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он вой-

ти во храм не мог. Бакон Веруламской недостоин разве напоминовения, что мог только сказать, как можно размножать науки? Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеилие для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова, для того, что *не разумел правил позорического стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда пронизителен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей.*

Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II, он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквиенции не что иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полулатинская, сделалась было необходимою: к счастью Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокаторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, *об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!*.. Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении! Смотрите письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.

Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове, как следующий рапорт, поданный им Шувалову, о своих упражнениях с 1751 года по 1757:

По ордеру вашего сиятельства велено всем академическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях в науках с 1751 года поныне. В силу одного рапортуя, что с того времени до нынешнего числа по моей профессии и в других науках я учинил погодно.

В 1751 году.

В химии. 1) Произведены многие опыты химические, по большей части огнем, для исследования природы цветов, что значит того ж году журнал лаборатории на 12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную свою речь о пользе химии на российском языке. 3) Вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии.

В физике. 1) Делал опыты в большие морозы для изыскания: какую пропорцию воздух сжимается и расширяется по всем градусам термометра. 2) Летом деланы опы-

ты зажигательным стеклом и термометром, коль высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажигательной точки. 3) Сделаны опыты, как разделять олово от свинца одним плавлением, без всяких посторонних материй простою механикою, что изрядной успех имеет и весьма дешево становится.

В истории. Читал книги для собрания материй к сочинению Российской истории: Нестора, законы Ярославли, Большой летописец, Татищева первой том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арсолда и другие, из которых брал нужные экскерпты или выписки и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах.

В словесных науках. 1) Сочинил трагедию, «Демофонт» называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации. 3) Собранные прежде сего материи к сочинению грамматики зачал приводить в порядок. Давал приватные лекции студентам в российском стихотворстве; а особливо Поповскому, который ныне профессором. 4) Диктовал студентам сочиненное мною начало третьей книги красноречия — о стихотворстве вообще.

В 1752 году.

В химии. 1) Деланы многие химические опыты для теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на 25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты тем курсом, как сам учился у Генкеля. 3) Для ясного понятия и краткого познания всей химии диктовал студентам и толковал сочиненные мною в физической химии пролегомены на латинском языке, которые содержатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими фигурами на шести полулистах. 4) Изыскал способы и практикою доказал, как составлять мусию. 5) По канцелярскому указу обучал составлению разноцветных стекол присланного из канцелярии строений ученика Дружинина для здешних стеклянных заводов.

В физике. 1) Чинил электрические воздушные наблюдения с немалую опасностью. 2) Зимю повторял опыты о разном протяжении воздуха по градусам термометра.

В истории. Для собрания материалов к российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла дьякона, Зонара, Феофана Исповедника, Леона Грамматика и иных экскерптов нужных на 5 листах в 161 статье.

В словесных науках. 1) Сочинил оду на восшествие на престол ее императорского величества. 2) Письмо о пользе стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял к ним стихи: на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории, второй части Красноречия, сочинил 10 листов.

В 1753 году.

В химии. 1) Продолжались опыты для исследования природы цветов, что показывает журнал того же году на 56 листах. 2) По окончании лекций делал новые химико-физические опыты, дабы привести химию сколько можно к философскому познанию и сделать частью основательной физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и их пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы, на 24 полулистных страницах, где каждая строка целый опыт содержит.

В физике. 1) С покойным профессором Рихманом делал химико-физические опыты в лаборатории для исследования градуса теплоты, который на себя вода принимает от погашенных в ней минералов, прежде раскаленных. 2) Чинил наблюдения электрической силы на воздухе с великою опасностью. 3) Говорил в публичном собрании речь о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, с истолкованием многих других свойств натуры. 4) Делал опыты, коими оказалось, что цветы, а особливо красный, на морозе ярчее, нежели в теплоте.

В истории. 1) Записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами. 2) Читал Российские Академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских.

В словесных науках. 1) Для российской грамматики привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со стихами на иллюминации и фейерверки: на 1 января, на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 декабря.

В 1754 году.

В химии. 1) Сделаны разные опыты химические, которые содержатся в журнале сего года на 46 листах. 2) Повторением поверены физико-химические таблицы, прошлого года сочиненные.

В физике. 1) Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины на море при мрачном небе. В практике исследовать сего без Адмиралтейства невозможно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может. Притом были разные химические растворы морожены для сравнения. 3) Деланы опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая по наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет. 4) Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собою маленькой термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя слишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена.

В истории. Сочинен опыт истории славянского народа до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях славянского народа; глава 3, о древности славянского народа, всего 8 листов.

В словесных науках. 1) Сочинил оду на рождение государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел фейерверк, который был представлен на новый 1754 год, и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию и фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября.

В 1755 году.

В химии. Деланы разные физико-химические опыты, что явствует в журнале того ж года на 14 листах.

В физике. 1) Сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные в Германии против моих диссертаций, в комментариях напечатанных, а особливо против новых теорий о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости воздуха. Она диссертация переведена господином

Формеем на французский язык и в журнале, называемом: «Немецкая библиотека» (Bibliothèque germanique), на оном языке напечатана. 2) Сочинил письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном.

В истории. Сделан опыт описанием владения первых великих князей российских Рурика, Олега, Игоря.

В словесных науках. 1) Сочинил и говорил в публичном собрании слово похвальное блаженной памяти государю императору Петру Великому. 2) Сочинив большую часть грамматики, привел к концу, которая в нынешнем году печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо о сходстве и переменах языков.

В 1756 году.

В химии. 1) Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Биция мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере. 2) Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах химических, из которых был воздух вытнут, показывали на огне минералы такие феномены, какие химикам еще не известны. 3) Ныне лаборатор Клеменьев под моим смотрением изыскивает по моему указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зеленые звездки.

В физике. 1) Изобретен мною новый оптический инструмент, который я назвал никтопическою трубою (tubus nyctopticus); оный должен служить к тому, чтобы ночью видеть можно было. Первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазам не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. 2) Сделал четыре новоизобретенные мною пендулы, из которых один медный, длиною в сажень, однако служит чрез механические стрелки против такого, который бы был вышиною с четвертью на версту. Употребляется к тому, чтобы узнать, всегда ли с земли центр, притягающий к себе тяжкие тела, стоит неподвижно или перемещает место. 3) Говорил в публичном собрании сочиненную мною речь о цветах.

В истории. Собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения сходств в деяниях российских.

В словесных науках. 1) Сочиняю героическую поэму, именуемую: «Петр Великий». 2) Сделал проект со стихами для фейерверка к 18 декабря сего года.

Сверх сего в разные годы зачаты делать диссертации: 1) О лучшем и ученом реплавании. 5) О твердом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первоначальных частицах, тела составляющих. 5) О градусах теплоты и стужи, как их определить основательно со мнением о умеренности растворения воздуха на планетах. К совершению привесть отчасти препятствуют другие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев охота отнимается.

Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по случаю «Гимна бороде», не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана! В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хотя была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что, речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредьяковский, Василий Кириллович, — вот этот был почтенный и порядочный человек». Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В «Тилемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:

Корабль Одиссеев,
Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся.

Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков, верно, не стоят Тредьяковского, — *habent sua fata libelli*⁶⁶.

Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною ввалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой то придворной идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: *Его сиятельство граф М. Л. Воронцов, по своей высокой ко мне милости, изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ея величеству.* — Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал воз-

⁶⁶ Книги имеют свою судьбу (*лат.*).

висить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, *предстателю мус, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельможе, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу»⁶⁷.

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!

Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется в обычаях английской литературы. Почтенный Кребб, умерший в прошлом году, поднес все свои прекрасные поэмы to his Grace the Duke etc⁶⁸. В своих смиренных посвящениях он почтительно упоминает о милостях и высоком покровительстве, коих он удостоился etc. В России вы не встретите ничего подобного. У нас, как заметила M-me de Staël⁶⁹, словесностию занимались большею частию дворяне (En Russie quelques gentils hommes se sont occupés de littérature⁷⁰). Это дало особенную физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут исскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? Позвольте в том усумниться.

Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую частную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете.

К тому же с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат, Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — не смотря на то, что в своих книжках они проповедают независимость и что они свои сочинения посвящают не доброду и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им.

⁶⁷ См. его письмо к графу Шувалову.

⁶⁸ его светлости, герцогу и т. д. (англ.).

⁶⁹ Г-жа Сталь (фр.).

⁷⁰ В России несколько дворян занялись литературой (фр.).

Статья «Путешествие из Москвы в Петербург» не была напечатана при жизни Пушкина по цензурным причинам. Опубликована с большими цензурными пропусками в 1841 году. Рапорт Ломоносова, приводимый в статье, был напечатан в журнале «Московский телеграф», 1827 г., № 22, откуда и был выписан Пушкиным.

Панин, Никита Иванович (1718–1783) — граф, государственный деятель и дипломат, воспитатель цесаревича Павла.

Фонвизин, Денис Иванович (1744 или 1745–1792) — русский писатель, драматург.

Шлецер, Август Людвиг (1735–1809) — немецкий историк, филолог; на российской службе в 1761–1767 гг., адъютант (1762).

Дмитрий Сеченов, Димитрий, в миру Даниил Алексеевич Сеченов (1709–1767), митрополит новгородский.

Дельвиг, Антон Антонович (1798–1831) — поэт, друг А. С. Пушкина.

Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728–1803) — граф, последний гетман Украины, президент Петербургской Академии Наук (1746–1798).

Орлов, Григорий Григорьевич, князь (1734–1783), фаворит Екатерины II, почетный член Академии Наук (с 1776).

Кребб, Джордж (1754–1832) — английский поэт, священник.

Г-жа де Сталь, Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница, теоретик литературы.

Костров, Ермил Иванович (1755–1796) — поэт, переводчик.

Текст печатается по след. изд.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. М.: Издательство АН СССР, 1963. Изд. 3-е. Т. 7. С. 276–287.

Содержание

О формате издания	5
Репринтное воспроизведение издания 1752 [1753] года	11
[Письмо о пользе Стекла...]	[1–16]
Опыт комментария	13
Вместо заключения, или О метафорической пользе ломоносовского Стекла	143
Сокращения	146
Приложение	153

Научное издание

Абрамзон Татьяна Евгеньевна

«Письмо о пользе Стекла» М. В. Ломоносова

Опыт комментария просветительской энциклопедии

Ответственный редактор М. Амелин

Компьютерная верстка: Т. Мосолова

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

101000, Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр. 6а

Тел./факс: (495) 621-98-52; e-mail: info@ogi.ru

Информация о книгах издательства: <http://ogi-press.livejournal.com>

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- кафе «Нейтральная территория», м. «Китай-город»,
Новая площадь, д. 14. Тел.: (495) 621-27-37.
- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, ул. 3-я Карачаровская, д. 18а.

Тел./факс: (495) 781-96-72.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

www.esterum.com и www.ozon.ru

Подписано в печать 12.11.2010. Гарнитура OfficinaSans.

Формат 60×90 ¹/₁₆. Объем 13 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 500 экз. Заказ №

ISBN 978-5-94282-625-3



9 785942 826253